

**«Это можно было бы принять и за нормальное явление...»**

Конструирование советской жизни и разочарования в нее  
в постсоветских автобиографиях-свидетельствах

Паулийна Кетола  
Университет г. Тампере  
Отделение современных языков и переводоведения  
Русский язык и культура  
Дипломная работа  
Май 2009

Tampereen yliopisto  
Venäjän kieli ja kulttuuri  
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

KETOLA, PAULIINA: ”Eto mozhno bylo by prinjat’ i za normal’noe javlenie...” Konstruivovanie sovetskoi zhizni i razocharovaniia v nee v postsovetskikh avtobiografijakh-svidetel’stvakh/ ”Sitä olisi voinut pitää normaalina...” Neuvostoelämän ja siihen pettymisen konstruointi Neuvostoliiton jälkeisissä omaelämäkerrallisissa todistuksissa

Pro gradu-tutkielma, 61 sivua  
Toukokuu 2009

Tutkielmani tarkastelee kahta venäjänkielistä omaelämäkerrallista narratiivia, jotka ovat vuonna 1997 järjestetyn omaelämäkertakirjoituskilpailun satoa. Tekstit kuvaavat elämää Neuvostoliitossa ja pian Neuvostoliiton kaatumista seuraavaa muuttoa Suomeen. Neuvostoelämää kuvaava osuus on molemmissa teksteissä hyvin kriittisesti väritynyttä. Työni tutkii teksteissä käytettyjä retorisia keinoja ja sitoutuu siten käsitykseen, jonka mukaan omaelämäkerta on pikemminkin kirjoittajan intentioiden sanelema retorinen akti, eikä niinkään muistin lainalaisuuksista riippuva kirjallinen tuotos.

Työn teoreettinen viitekehys pohjaa retoriikan ja narratiivin tutkimukseen sekä omaelämäkerran ja omaelämäkerran alalajin, todistuksen, teoriakirjallisuuteen. Tärkeässä roolissa työssäni ovat myös neuvostokritiikkiin liitettävät konnotaatiot: jyrkkä jako viralliseen ja hyvinvoivaan sekä vaiettuun ja pettyneeseen.

Tutkimus pyrki selvittämään, mistä tekstien jyrkkä neuvostokritiikki kumpuaa ja miten tekstit konstruivat elämää Neuvostoliitossa. Koska teksteissä esitettävä kuva neuvostoarjesta ei vastaa kertojien käsitystä hyvästä tai normaalista elämästä, koetan selvittää, millainen on tekstien käsitys hyvästä ja normalista. Samalla pyrin selvittämään, millaisen kuvan tekstit rakentavat minäkertojasta, joka siis viittaa tekstien kirjoittajiin. Esitän työn alussa hypoteesin, jonka mukaan tekstien neuvostokritiikki on keino, johon tekstien kertojat tukeutuvat perustellakseen muuttonsa Suomeen. Analyysiosuus on jaettu kolmeen alalukuun, joista ensimmäinen tarkastelee toisessa omaelämäkertoista esille nousevaa menetyksen tematiikkaa. Toinen alaluku tutkii pettymyksen teemaa, joka on vahvasti läsnä molemmissa teksteissä; yhteinen tematiikka mahdollistaa myös tekstien vertailun keskenään. Viimeisessä alaluvussa havainnoin merkityksiä, joita tekstien kertojat antavat Suomeen muutolle.

Analyysi osoitti, että menetyksistä kertova omaelämäkerta viittaa neuvostovallan toimiiin ”poisottamisena” ja ”rosvouksena”, Suomi, sitä vastoin, edustaa ”huolenpitoa”. Toinen omaelämäkerta, jonka kantava teema on pettymys Neuvostoliittoon, puhuu Neuvostoliitosta ”vankilana” erotuksena Suomelle, joka esitetään narratiivissa vapaana yhteiskuntana. Molemmat tekstit esittävät neuvosto-olot normaaliin elämään sopimattomina. Huomioin tämän rakentavan tekstien kertojista ”normaaleja” ihmisiä, jotka eivät normaaliudestaan johtuen pysty sopeutumaan epänormaaliin yhteiskuntaan. Täten työn alussa esitetty hypoteesi osoittautui paikkansapitäväksi. Tutkimustulosta tulee mielestäni kuitenkin tarkastella varauksella. On luultavaa, että teksteissä esiintyvä tarve perustella muuttoa kertoo pikemminkin siitä, millaisia odotuksia kertojat ennakoivat lukijoillaan olevan. Täten analyysi osoitti, että teksteissä rakennetaan myös suomalaista lukijaa, jonka oletetaan kaipaavan perusteluja maahanmuutolle.

Avainsanat: omaelämäkerta, todistus, narratiivi, retoriikka, Neuvostoliitto: kritiikki.

# Содержание

<b>1 ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>1</b>
1.1 МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	1
1.2 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	3
1.3 ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
1.4 КОНТЕКСТ МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	6
<b>2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ.....</b>	<b>8</b>
2.1 НАРРАТИВНОСТЬ .....	8
2.2 РИТОРИКА.....	10
<b>3 АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР .....</b>	<b>12</b>
3.1 ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	12
3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА .....	15
3.3 АВТОБИОГРАФИЯ-СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЕЕ ПРАГМАТИКА .....	17
<b>4 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИШЕНИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЯ .....</b>	<b>21</b>
4.1 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИШЕНИЙ .....	25
4.2 РАЗОЧАРОВАНИЕ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ .....	35
4.3 ФИНЛЯНДИЯ – НАКОНЕЦ В НОРМАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ?.....	47
<b>5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>53</b>
<b>6 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>57</b>

# 1 Введение

## 1.1 Материал исследования

В 1997-ом году в Финляндии состоялся конкурс автобиографических<sup>1</sup> сочинений, для иностранцев, приехавших в страну. Лаура Хуттунен (Laura Huttunen), исследователь кафедры социологии и социальной психологии университета города Тампере имела своей целью написать на материале конкурсных сочинений диссертацию<sup>2</sup>, в которой изучалось значение дома в автобиографических рассказах иммигрантов. Тема конкурса была обозначена так: «История иммигранта. Опишите свою жизнь собственными словами»<sup>3</sup>. (Huttunen 2002: 18.)

Формулировка темы соответствует греческому слову *автобиография*, которое значит «описание (*graphie*) своей (*autos*) жизни (*bios*)». Значит, ожидали автобиографические сочинения. Итак, в ответ было получено 73 интересных и удивительных автобиографии на шестнадцати языках, так как писать можно было на родном языке. Большая часть из них (24 сочинения) была написана на русском. (Huttunen 2002: 22, 371.) Из этих 24-ех текстов в нашей работе рассматриваются два текста, которые будут представлены ниже, в аналитической части дипломной работы.

Настолько широкий материал (как конкурсные сочинения вообще) является, конечно, очень гетерогенным. Истории писавших на русском языке людей, которые в 1997-ом году оказались в Финляндии во многом не сходны между собой. Авторы автобиографий – представители разных национальностей: ингерманландцы, русские и эстонцы. Конечно, отличаются авторы друг от друга, также по возрасту, полу, и происхождению. Различны и причины переезда в Финляндию: семейные причины, работа, поиски лучшей жизни. У авторов сочинений разные амбиции: у одних более художественные, а у других более документальные.

---

<sup>1</sup> В этом исследовании слова «автобиографическое сочинение» и «автобиография» употребляются как синонимы.

<sup>2</sup> Значит, данной материал исследования первоначально собран для диссертации, защищенной Лаурой Хуттунен в 2002-ом году. Наша дипломная работа будет вторичным использованием этого материала.

<sup>3</sup> Конкурсный вызов продолжался: «Ход жизни иммигрантов отличается от жизни коренного финна во многом. Расскажите своими собственными словами, какая ваша жизнь. Расскажите и о времени до приезда в Финляндию и о вашей жизни в Финляндии, то есть о ходе вашей жизни с вашего рождения по сей день. Расскажите о вещах и событиях, которые, по вашему мнению, имеют значение и о которых нужно рассказать. Детали могут тоже быть значительными и интересными, так что не сомневайтесь, а расскажите и о мелких делах, если они вам кажутся важными. --- Вы свободны в выборе стиля – расскажите о делах собственными словами, так, как они вам увиделись». (Huttunen 2002: 367.)

Все это связано с *проблемой однореференциальности*, о которой пишет Юрки Пёуса (Jurki Pöysä 2006: 238-239). Этим понятием он ссылается на одну из проблем, с которыми сталкивается исследователь конкурсного материала: на объявления о конкурсе откликаются очень разные люди, и в случае нашего материала авторы автобиографий приехали из разных стран – и даже континентов - мира. Результатом этого является в бессвязность и рассеянность материала: явления, общества и обстоятельства, на которые в текстах ссылаются, редко бывают в таких конкурсах лишь одинаковыми, а скорее наоборот - читателю открывается череда непохожих друг на друга судеб. (там же.)

Однако, бóльшую часть русскоязычных автобиографических сочинений объединяет критический взгляд на советскую власть, а особенно на созданные ею условия жизни. Это исследование посвящается риторике автобиографических свидетельств, рассказывающих о лишениях при советской власти и о разочаровании в ней. В работе изучаются автобиографические нарративы и то, *как* лишения и разочарования *конструируются* в них *в качестве нарушающих нормы хорошей жизни*, то есть как нарушающие что-то, что нарратор автобиографии конструирует в нарративе как нормальное (естественное, хорошее и правильное) (Vladimir Shlapentokh 2001: 4-5). Сосредотачиваясь на том, как в нарративах конструируются господствующие в них нарративы о лишении и разочаровании, обнаруживаем и значения, которые авторы-нарраторы автобиографии дают советскому обществу, в целом.

Рассмотрение автобиографий как опытов, как свидетельств о политических и идеологических сторонах советской жизни, предлагает, что внимание должно уделяться не только жанру автобиографии, но и – прежде всего, его субжанру – свидетельству. Значит, мы трактуем конкурсные сочинения, исследуемые в этой работе, как автобиографии-свидетельства. В свидетельстве, как дальше увидим, появляется нужда тогда, когда существуют разные мнения о том, что есть «правда». Советское прошлое продолжает вызывать разные чувства, о нем представляются спорные мнения. Хотя советский быт описывается сегодня достаточно многосторонне, он долгое время представлялся, по крайней мере на уровне официального дискурса, только в хорошем свете – в качестве идеального, то есть «неправдоподобного». Как увидим в нашем материале, споры об оправданности советской власти и ее поступков не прекращаются.

Объявление о конкурсе уже сообщило участвующим, в качестве кого - из какой роли – они должны написать свои истории: они – иммигранты. Однако, тему конкурса можно толковать по-разному, что и делали участвующие. Хотя они *теперь* иммигранты,

сама история иммиграции в Финляндию описывается в сочинениях довольно сжато. По большей части авторы останавливаются на жизни в Советском Союзе.

Однако, как отмечалось выше, только два из 24-ех русскоязычных текстов, в которых рассказывается история человека, корни которого в бывшем Советском Союзе, включаются в материал этого исследования. Некоторые сочинения, относящиеся к данной категории, были написаны на финском, и, как мы уже выше указали, язык был одним из критериев выбора материала. Вторым и еще более веским критерием – критерием, который исключил из исследования остальные русскоязычные сочинения, была политизированность текста и конструирование нарратива о лишениях и разочарованиях в Советском Союзе, и следовательно, о патологичности этой страны. Включенные в рассмотрение тексты описывают советские условия как унылые и подавляющие; они написаны, по большей части, злобным тоном, саркастически и полны горечи. Эксплицитная оценка советских условий в течение всего нарратива в обоих текстах делает возможным и плодотворным и сопоставление и сравнение этих сочинений друг с другом.

## **1.2 Цель исследования**

Данное исследование изучает нарративность и ретиорику в двух автобиографиях, описывающих и критически оценивающих жизнь в Советском Союзе. Эти сочиненные в Финляндии 1997-ом году иммигрантами тексты позиционируются в сложном пространстве между двумя странами: между Финляндией, в которой иммигрантам нередко приходится оправдаться по поводу их приезда в страну, и разваленным Советским Союзом – прошлым, (настоящее) лицо которого, как оно в автобиографиях конструируется, было достаточно уродливым. Исходим, таким образом, из утверждения, что советская действительность конструируется в нарративах как что-то, нарушающее представления о нормах хорошей, приличной жизни.

Автобиографии, включенные в исследование из-за их критического отношения к советской действительности, должны иметь, как мы покажем ниже, лежащие в основе сочинения текста мотивы для критики советских властей. Мы выдвигаем гипотезу, что критика Советского Союза является способом, которым переезд в Финляндию может быть мотивирован в тексте. Наша гипотеза не должна пониматься за окончательную, или единственную причину переезда авторов-нарраторов. Причем, наша интерпретация текста

относится к изображенному в тексте действию; то есть, мы не пытаемся достичь общеприменимых результатов, касающиеся мотивов переезда, или самих иммигрантов.

Скорее, данное исследование является исследованием риторики автобиографических нарративов, рассмотрением того, как эти тексты конструируют советские условия жизни, особенно в политическом, идеологическом контексте. Риторика, в том смысле, как мы используем это понятие в данном дипломном сочинении, относится к стремлению нарраторов раскрыть читателю правду, представить событие таким, каким оно ему показалось и защитить верность и правдивость своей истории. Причем, следует отметить, что автобиография, будучи нарративом о истории жизни человека, сочиненным самим человеком, создает представление не только о среде, в которой человек растет и живет но и о среде, в которую он переезжает, и о самом человеке. Поэтому мы, изучая те значения, которые в нарративах придаются советской жизни и советской власти, уделяем внимание и тому, как нарраторы-протагонисты представляют себя в текстах.

Мы рассматриваем автобиографии в работе и отдельно, обращая внимание на их отличительные особенности, и в сопоставлении друг с другом, пытаясь обнаружить соединяющие их между собой элементы. Мы будем рассматривать, как нарратив жизни в этих автобиографиях конструируется как рассказ о лишениях и разочарованиях (что всегда является своеобразным лишением веры) и, следовательно, о лишении надежды на возможность другой жизни в России, даже после распада Советского Союза.

Итак, сосредотачиваясь на двух репрезентативных автобиографиях, мы будем рассматривать, в текстах те мотивы, которые влияют на конструирование нарратива. Анализируя тексты, мы пытаемся ответить на вопросы:

- Какими понятиями нарраторы обозначают советские реалии? Какими риторическими способами в текстах конструируются эти реалии?
- Как критика этих реалий влияет на конструирование представления о том, что есть «нормальное» и как должно быть?
- Как критика советских властей влияет на тот образ, который автор-нарратор передает в тексте о самом себе?
- И – наконец, на вопрос, обозначенный в нашей гипотезе: Является ли, критика Советского Союза способом мотивировать переезд в Финляндию?

### **1.3 Ход исследования**

Следующий раздел кратко освещает исторический контекст Советского Союза. Тут важно отметить, что самым значительным фактором, касающимся данного контекста, является все-таки пост-советский контекст написания автобиографий. Контекст конкурса автобиографических сочинений в Финляндии в 1997-ом году определяет – или даже поощряет – откровенно критический взгляд на советскую жизнь.

Во второй главе представляются наши теоретические рамки: нарративность и риторика. Нарративность, или скорее нарратив служит формой, посредством которой человек интерпретирует и оценивает свой опыт и придает ему значение. Риторика, в свою очередь, занимается принципами порождения текста, а точнее – рассматривает текст и идеи в (культурном) контексте их рождения, то есть, в момент его сочинения. Главными источниками исследования по риторике в нашей работе служат идеи Кеннета Бёка и Майкла Биллига. Предпосылкой риторического исследования является то, что текст не может быть нейтральным, а он всегда насыщен аргументами о действительности. Риторика используется в этом исследовании для означения механизмов, посредством которых нарратор внушает читателю понимание того, что изображенное в свидетельстве – патология общества и нарушение общечеловеческих норм о хорошей жизни.

Третья глава посвящается автобиографическому жанру, наше определение которого основывается прежде всего на трактовке Филиппа Лежена и идеях Лидии Гинзбург. Так как при анализе материала исследования прибегаем, в большей части, к западной научной литературе, излагаем в третьей главе некоторую характеристику советской автобиографии, что является, по нашему мнению, необходимым для понимания контекста, который несомненно влиял на сочинение текстов.

Изложив важнейшие особенности советской автобиографии и ее истории, переходим к рассмотрению центрального для нашего исследования понятия «свидетельство». Свидетельство, будучи одним из главных видов автобиографии, относится, к рассказыванию о личных переживаниях или лишениях или социальных проблемах; то есть, к чему-то, нарушившемуся нормы. В качестве главных источников для анализа свидетельства в данной работе служат тексты Хейкки Куянсиву и Сидонии Смит и Джулии Ватсон.

Четвертая, аналитическая глава начинается с установления разных сфер свидетельств, проявляющихся в нашем материале, и определения наших границ. Наша



работа охватывает сферы, описывающие лишение (материальное обесценивание) и разочарование в коммунистической родине. До перехода к анализу кратко излагаются, как построены нарративы в тех двух автобиографиях, на материале которых анализ будет проводиться, и представляется аналитическое понятие *идеологическое «я»*, которое позволяет рассмотреть автобиографии именно в их отношении к общественной и идеологической критике.

Аналитическая глава разделена на три части, первая из которых сосредотачивается на изучении того, как в одном из сочинений конструируются лишения, и как это влияет на впечатление, которое 28-ая автобиография создает о советской власти. Второй раздел уделяет внимание тому, как в обеих автобиографиях конструируется развитие чувства разочарования во властях, и как читателя стараются убедить о том, что советские условия жизни нарушали нормы хорошей жизни. Третий раздел аналитической главы рассматривает, как в нарративах конструируется переезд в Финляндию, и особенно – какие значения Финляндия имеет в текстах (в сопоставление с Советским Союзом). Кроме этой задачи, третий раздел пытается подвести итоги проявляемому в автобиографиях стремлению к убеждению читателя в ненормальности советских условий. В этой связи в разделе ставится и вопрос о том, какой является динамика переезда из патологического в «нормальное» общество.

#### **1.4 Контекст материала исследования**

Чтобы реконструировать советский контекст текстов и обсуждаемую в них советскую картину мира такой, как коммунисты сами ее воспринимали, излагаем ниже партийную программу, как его формулирует в своем исследовании Маркку Кивинен: Россия была отсталой страной, в которой правил деспотический царизм. Провинции были бедными, причем они были крайне религиозными. «Прогрессу страны способствовало лишь развитие производства, которое сделалось возможным именно при социализме. Правильное направление для страны было указано партией пролетариата, которая занималась политикой, основывающейся на научной трактовке общества». Однако, между тем, как коммунистическая партия стремилась, согласно своей программе бороться с бедностью, отсталостью, буржуазией и царем; заменяя их прогрессом, развитием производства, городами, пролетариатом, коллективизмом и партией, в стране царил хаос. (Markku Kivinen 1998: 220-233.)

Переход с рыночной экономики на плановое хозяйство в конце 1920-годов привел в результате к недостатку практически всех потребительских товаров, в том числе продуктов, одежды, обуви, а также жилья и мебели. Дефицит приводил к нормированию товаров и продуктов. Дефицитные товары добывались в очередях, стояние в которых занимало значительную часть времени советских граждан. Особенно остро дефицит стал ощущаться с 1930-годов, когда в сельской местности осуществлялась коллективизация мелких крестьянских хозяйств. Недостаточное производство продуктов и товаров широкого потребления и неспособность советского планового хозяйства к их распределению привела к голоду и всеобщему регрессу страны. Все-таки, согласно официальной идеологии, наступление идеального советского общества предполагалось не в далеком будущем, а считалось уже почти стигнутым. (ECRC 2007: shortages, queue; Kivinen 1998: 222-233, 245; MacDaniel 1996: 109-110; Pesonen 2007: 138; Shlapentokh 1989: 20.)

В духе Юрия М. Лотмана, Кивинен пишет, что как русской, так и советской культуре свойственна дуальность, резкие оппозиции между двумя полярностями и отсутствие нейтрального между ними пространства. Соответственно и гегемонный коммунистический дискурс (или пропаганда) касался только идеальной для социализма действительности и тех явлений, с которыми большевики вели борьбу. Но, для настоящей, царившей в реальности советской действительности, которая находилась между этими двумя полярностями, не хватало дискурса; она оказалась в тени дискурсов и стала табуированной. (Kivinen 1998: 219-220, 222-225.)

Несмотря на ее табуированную сущность, неофициальная действительность и ее практики постепенно укреплялись и становились институционализированными. После этого неофициальные институты существовали рядом с официальными, и политика сосредотачивалась на напряжении между действительностью и идеальной, «второй действительностью». (Kivinen 1998: 225.) Резкий контраст между действительностями еще более углублялся тем, что к бытовым реалиям обращались на уровне официального дискурса лишь в виде абстрактных понятий, таких, как «новый социалистический образ жизни» (Наталья Лебина 2000: 7-8).

Коммунистическая партия удерживалась во власти только с помощью мощной пропаганды (и террора). Поддерживание «второй действительности» и отказ властями признать имеющиеся в советском обществе крупные недостатки, продолжались почти в течение всей истории Советского Союза. Подобное мышление и идея о приличном, нравственном советском человеке внушались советским поколениям уже в школе, и также посредством литературы и искусства. (Vladimir Shlapentokh 1989: 18.) «Вторая

действительность» поддерживалась не только в сознании собственных граждан, но и во глазах остального мира. Опускаясь на действительность тень посторонила только во время гласности в 1985-87 гг., благодаря разоблачениям, совершенным правительством, во главе которого был Михаил Горбачев. Как отмечает Шляпентох, вплоть до 1987-го года со стороны правительства поддерживалась жизнеспособность коммунистической идеологии и соответствующей ей пропаганды, и несмотря на невысокий уровень жизни, большинство населения Советского Союза верило во превосходство социализма. (Beth Holmgren 2003: Introduction; Shlapentokh 1989: 15-17; Shlapentokh 2001: 7.)

Теперь, Российская Федерация – капиталистическая страна, но присутствие прошлого все еще ощущается, прежде всего в памяти людей. Прошлое страны уже широко «раскрыто» и изучено, и в России, и за рубежом. Однако, мер для восстановления несправедливости, кроме формальной реабилитации пострадавших, не принято (Barbara Misztal 2003: 151-152: ссылка на статью Йона Эльстера). Значит, теперешнее отношение правительства к прошлому страны напоминает своего рода амнезию и пострадавшие могут чувствовать себя оказавшимися без всякой надежды на компенсацию несправедливостей прошлого.

## 2 Теоретические рамки

### 2.1 Нарративность

В 1980-ые годы, берущий свои корни в социальном конструктивизме, *нарративный поворот* представил идею, что нарратив – или повествование<sup>4</sup> - является формой, посредством которой вымысел живет в культуре. Человеческая способность рассказывать истории есть главный способ, посредством которого людям удастся упорядочить и осмыслить окружающий мир. (Johansson 2005: 18; Vivien Burr 1995: 2-9; Трубина, www.)

Кроме изучения вымысла, нарративность способствовала исследованию опыта, представляя, что опыт невозможно изучать, не обращая внимание на *рассказанный* опыт. Это открыло новые возможности и для изучения автобиографии, которая является в терминах нарративности, нарративом об опыте или рассказанным опытом. С помощью нарратива опыту придается форма и значение. (Kulmala 2006: 76; Burr 1995: 2-9; Трубина, www.)

---

<sup>4</sup> Понятия *нарратив* и *повествование* будут употребляться нами как синонимы.

Причем, как Е. Г. Трубина (www) пишет, нарратив организует временное измерение опыта и способствует конфигурированию последовательности событий в объединенное целое; выделение в нарративе в начала, середины, конца и центральной темы.

Итак, нарратив не просто регистрирует события, но прежде всего интерпретирует их как имеющие значение части омысленного целого, в случае автобиографии – в жизни человека (Трубина, www). Пытаясь истолковать свое прожитое, человек создает из него автобиографический нарратив (Baumeister & Newman 1994: 676). Таким образом, события, случившиеся с человеком, получают объяснение, или по крайней мере, человек старается, конструируя их в нарратив, обнаружить в них какую-нибудь (единую) логику. В нарративе событиям и действиям придается значение по отношению к целой человеческой судьбе (Gusdorf 1980: 35), и иногда – по отношению к судьбе всей страны.

Значит, задачей автора автобиографии является раскрыть смысл в событиях и дать им значение, и в этом его ход отличается от того художника, который начинает свою работу с замысла и создает подходящие для этого замысла образы и события. Точнее, автору автобиографии события и персонажи уже даны, его работа ограничена несвободой их вымысла. Эти данные ему факты становятся образами и представителями идеи. (Гинзбург 1971: 9, 11, 137.) Необходимо отметить, что сочинение автобиографии начинается, разумеется, далеко не с факта, а уже с постижения его значения. Мы предполагаем, что автор автобиографии скорее обосновывает фактами прожитого то значение, которое он дает своему опыту. Так или иначе, в ходе процесса сочинения автор переписывает события таким образом, чтобы поддерживать *значение*, данное прожитому автором (Гинзбург 1971: 11).

Значит, в повествовании проявляется прежде всего моральный уровень, оценивающийся изображаемое. Этот уровень толкует событие в отношении к ценностям. Рой Баумайстер и Леонард Ньюман утверждают, что потребность человека осознавать суть добра и зла является одним из главных стимулов, заставляющих человека сочинять автобиографию. Действительно, познание автором-нарратором добра и зла представляет, в частности, основу для суждения о том, что считается в нарративе нормальным и ненормальным, правильным и неправильным. (Roy Baumeister & Leonard Newman 1994: 677, 683.) Но интерпретация нарратором прожитого – это только одна версия среди других (Rahkonen 1995: 151). Поэтому автор старается убеждать читателя в правильности именно своего толкования смысла прошедшего.

## 2.2 Риторика

Аналогично предыдущему разделу, касающемуся нарративности, и замечанию в нем о нарративном повороте, тут можно было бы говорить о *риторическом повороте*, который обнаружил присутствие риторики во всем: в науках, философии, историографии. А вклад риторики в судебные процессы и политику осознавался уже софистами античных времен. Риторика – это принципы создания текста и значений в нем. Согласно идеям социальной конструкции, значения рождаются в социальном контексте. В контексте автобиографических текстов, это значит, что значения создаются во взаимодействии нарратора с читателем, посредством *аргументации* со стороны автора-нарратора. (Billig 1996: 2; Burr 1996: 85; Kari Palonen & Hilka Summa 1998: 7, 9.)

Самое главное - это присутствие риторики во всех человеческих речах и во всех формах мышления (Billig 1996: 2; Burr 1996: 85). Таким образом, и акт забывания и акт воспоминания являются мотивированными актами. Поэтому, предпосылкой нашей работы является то, что акт автобиографического повествования – это прежде всего акт риторический: он обусловлен больше авторскими намерениями, например стремлением к справедливости, чем, допустим, работой человеческой памяти. Воспоминание не может быть нейтральным: у него всегда прагматические цели (Aarelaid-Tart 2006: 244-245; Lambek 1996: 239-240 Sztompka 2000: 455). Эта предпосылка имплицитно подразумевает, что воспоминания обусловлены не (только) памятью, но у них есть какая-то цель. Поэтому мы не занимаемся в этой работе вопросами не о том, как человек воспринимает и концептирует действительность, а скорее о том, как человек желает представлять другим свою действительность. В этом исследовании исходим из предположения, что цель сочинения автобиографии – моральная, как утверждает Ламбек (там же). Хотим, однако, отметить, согласно Ю. М. Лотману, что образование (автобиографического) текста производится сочинителем текста чаще всего бессознательно, и только исследователь текста рассматривает порождение текста как сознательный процесс (1998: 407).

Шаим Перельман определяет аргументацию как употребленную в разногласии практику критики и оправдания, сопротивления, обоснования или требования обоснований (Chaïm Perelman 1980: 108). Майкл Биллиг добавляет к этому, что аргумент – это выражение своей позиции: аргументируя, человек защищает свою позицию, то есть защищает превосходство своей позиции перед встречными аргументами (Michael Billig 1991: 25; 1996: 74). Другими словами, риторический акт представляет вопрос в новом освещении, способствует рассмотрению его с нового ракурса - риторический образ претендует на

раскрытие «правды» и настоящей сути разногласия. Риторика – это акт раскрытия правды, и, способ, посредством которого автор-нарратор автобиографии стремится к указанию правды читателю. (Burke 1969: 503).

Значит, аргументация обнаруживается во всем мышлении и взаимодействии между людьми. Таким образом, как самая основная функция языка и всей коммуникации понимается убеждение. *Риторика* можно определить как мастерство уговаривания и убеждения. Риторический язык призывает к деятельности, или скорее к усвоению какой-нибудь *отношения*. (Burke 1962: 566-570.) Отношение должно тут пониматься как оценка: за что-то или против чего-то. Согласно словам Биллига (Billig 1996: 206-207), «отношение означает позицию, принимаемую человеком в отношении какой-нибудь общественной полемики и разногласия». Значит, отношение представляет мнение о полемичном вопросе (там же) и таким образом, полемика и аргументация неотделимы друг от друга. Аргументация предполагает полемику, так как при полном единогласии она совсем не нужна. (Burke 1962: 549; Perelman 1996: 13.)

Прибегая к этому утверждению, можем убедиться, что самое присутствие свидетельства доказывает то, что существуют и противные аргументы. Сомнение со стороны противников требует подтверждения содержания своего свидетельства. Именно на этой противоположности основывается суть аргументации: подтверждение всегда имплицитно, что существуют и противоположные мнения о вопросе (Billig 1991: 143). Обнаружение «правды» о прошлом имеет большое значение особенно, когда прошлое страны или общины представляется неправдоподобно или оно интерпретируется по-разному.

Таким образом, всякое напряжение сил для убеждения других в правдивости своей версии является признаком того, что, по поводу данного вопроса, взгляды расходятся. Разногласие в вопросе о смысле советского прошлого вытекает из того факта, что если все были бы согласны в том, как деятельность советской власти должны истолковываться, свидетельства об этом оказались бы ненужными. Таким образом, мы обнаруживаем, что диалектика свидетельского акта включается в полемику между разными трактовками о бывшем.

Значения должны всегда изучаться в контексте своего рождения, в освещении культурных предпосылок, которые влияют на создание текста в нарративе. (Burke 1962: 578; Perelman 1996: 7-9, 15-16.) Аргументы приводят, прибегая к так называемому «здоровому смыслу» (*common sense*) этой культуры, то есть к представлениям, выражающим гегемонный дискурс, главную идеологию. Причем, существует не только один гегемонный дискурс, а обычно их существует много. Приведение аргументов основывается на противоречиях

между дискурсами (и иногда и на противоречиях внутри дискурса). (Billig 1991: 71-72.) Ссылаясь на наш материал исследования, отмечаем, что в автобиографиях присутствует влияние коммунистического дискурса Советского Союза. Точнее, это наблюдается именно в присутствии *противо*-коммунистических дискурсов.

Универсального согласия, конечно, нет. Соглашаться можно, согласно классическому определению, только об общепринятых ценностях, например о справедливости, нормальности и приличности - но только до тех пор, пока они не применяются конкретно к каким-нибудь ситуациям. Общее уважение этих ценностей не обязательно приводит к согласию о том, что должно классифицироваться как справедливое, нормальное или приличное. Поэтому ценности универсального согласия являются многоупотребляемыми и мощными орудиями в аргументации, как мы будем наблюдать при анализе (Perelman 1980: 66; Perelman 1996: 34.)

## **3 Автобиографический жанр**

### **3.1 История советской автобиографии и ее исследования**

В русском автобиографическом исследовании предпочитают говорить о *документальной, невымышленной* или *мемуарно-автобиографической литературе* или о *мемуарах, записках* или *воспоминаниях* (Савкина 2001: 11-12). Это связано с тем, что в советские времена «автобиография» означала документ, который был нужен, например, при поступлении в вузы, на работу и для поездки за границу. В ней перечислялись жизненные факты поступателя по определенному образцу, чтобы представить того как приличного советского гражданина. Документ-автобиография был, таким образом, документом, имеющим большое идеологическое значение. (Galina Akbulatova 1997: 81-82; Ирина Савкина 2001: 29.)

Однако, так как большая часть нашего теоретического материала является западным, в этой работе употребляется термин автобиография<sup>5</sup> вместо более укоренных русских вариантов. Савкина пишет, что серьезное научное исследование автобиографий начиналось в России (в Советском Союзе) во второй половине XX века и развивалось затем

---

<sup>5</sup> Дальше в этой работе мы будем пользоваться термином автобиография только в значении, представленном нами выше – в современном значении термина.



примерно одновременно с западным, хотя работы западных ученых были малодоступны для советских исследователей. (Савкина 2001: 21-26.)

Сначала автобиографии рассматривались, прежде всего как документы, отражающие исторический ход событий, и отношение человека к ним и к самому себе. Главным вопросом, касающимся автобиографий, был вопрос о их достоверности в качестве источника истории и описание социально-исторической среды. (Kosonen 1995: 16-17; Савкина 2001: 21-22.) То же направление отражается все еще, например, в сфере социологии, и хорошо иллюстрируется выражением «использование информации, как *ресурса*», то есть для построения картинки о жизненных условиях времени (Stanley 1993: 41).

Позднее интерес перешел от документальности автобиографии к проблемам ее авторства, а именно к изучению самопознания автором самого себя и, следовательно, к текстовым и литературным свойствам автобиографии. Проблематизировались особенно референциальные связи автобиографического текста с настоящим автором (Kosonen 1995: 22, 26, 36-40; James Olney 1980: 19, 22). В 1980-1990-ые гг. особенно западное автобиографическое исследование заинтересовалось автобиографией как способом эмансипации, освобождающей маргинальные группы, в частности, разные меньшинства. Автобиография понимается как способ этих групп быть слышными и видимыми; она позволяет угнетенным говорить самим за себя. (Anderson 2001: 104, Johansson 2005: 217-218; Rimmon-Kenan 1995: 22.)

Эмансипационное направление сочетается прежде всего с традицией *тестимонио*, название которого происходит из Латинской Америки, но явление – всемирно известно. Тестимонио относится к нарративу, в котором человек рассказывает, свидетельствует (*testimonio* = *свидетельство*), обо своей истории страданий, в которой проявляется история страданий и лишений всего коллектива. (Kujansivu 2007 b: 229; Smith & Watson 2001: 70-71, 107). Таким образом, раскрывая одну, часто замалчиваемую сторону в жизни народа, *тестимонио* приближается в каком-то смысле к исследованию автобиографии как ресурса.

Причем, в качестве свидетельства, автобиография - или то, что помниться и, следовательно, рассказывается – имеет сильную политическую окраску. Особенно четко это проявляется в тоталитарном обществе, в частности и в Советском Союзе, в котором государство пользовалось монополией на правду и личные, не соглашающиеся с этой правдой воспоминания, свидетельствовали против государства. (Skultans 1998: 24; Smith & Watson 2001: 18-19.) Особенно остро монополия правды проявлялась в *Кратком курсе*



*истории всесоюзной коммунистической партии*, в официальном толковании советской истории, большую часть которого Сталин переписал после первоначального выпуска книги в 1938-ом году. С того года *Краткий курс* представлял единственную интерпретацию советской истории. (ECRC 2007: Short Course.)

Однако, после смерти Сталина отличные от Краткого курса интерпретации советской истории перестали восприниматься как угроза для государства. С выступления Никиты Хрущева против культа личности Сталина в 1956-ом году и публикации повести Александра Солженицына «*Один день Ивана Денисовича*» в «Новом мире» в 1961-ом году началось «*переписывание истории*»: в Советском Союзе выходило множество автобиографий, свидетельствующих о преступлениях, которые советская власть совершала против своих граждан в течение последовавших за Октябрьской революцией десятилетий. Писали о сталинских репрессиях – в особенности о ГУЛАГе. (Marina Valina 2003: 190; Natasha Kolchevska 2003: 145-146; Toker 2007: 53.) В это же время развернулась кампания реабилитации лиц, пострадавших от репрессий. Результаты ее были, однако, небольшие. В конце 1960-ых годов, при Брежневле начался новый период сталинизации, который продолжался почти 25 лет. Тишина было нарушена только реформами Михаила Горбачева в 1987-ом году, и после распада Советского Союза Ельцин приступал к выполнению второй активной кампании реабилитации. Кроме широкой волны реабилитаций, дело, однако, дальше не пошло. Вопросы вины пока публично не обсуждались (Adler 2001: 276, 281-288; Elster 1998: 46.)

В современной России явление *воспоминания* широко распространено. Вспоминают именно о советском прошлом, которое, согласно авторам-нарраторам автобиографий, раньше представлялось «*неправдоподобно*». Теперь, в постсоветское время, можно уже высказать «полную правду» о советских временах. (Marja Rytönen 2004: 8-9.) Или точнее, сегодня свидетельства ориентируются на публику, которой советские условия (или, по крайней мере большая часть их) уже достаточно известны. Поэтому, эти автобиографии должны, по нашему мнению, рассматриваться как участники в разборе этого опыта, а именно в обсуждении *значения*, приданного (коллективному) опыту. Мир уже убедился в страданиях, причиненных коммунистическим правительством своим гражданам, но вопрос о смысле этих страданий все еще не нашел ответа. Поэтому кажется, что особенно острым вопрос о них становится в свете того, что значение этих горьких опытов пока не привело людей к единогласию в оценках сути советской власти. Итак, дебаты о советском прошлом продолжаются, касаясь не только того, что действительно было, но того, как бывшее должно пониматься. Это указывает, что дебаты продолжаются, несмотря на то, что

контекст аргументации изменяется (Billig 1991: 144): вопрос, касающийся советской жизни не исчез, а только ставится сегодня иначе.

### **3.2 Определение автобиографического жанра**

Мы принимаем для этой работы определение, который Филипп Лежен дал автобиографии в своей известной статье «Автобиографический договор» в 1970-ые годы: «ретроспективный нарратив, в котором действительно существующий человек рассказывает в прозе о своем бытии, делая акцент на истории своей жизни и развитии своей личности» (Philippe Lejeune 1982: 193).

Лежен определяет признаки, которые убеждают читателя о том, что нарратор-протагонист текста референтирует на реального автора. К этим признакам относятся, согласно Лежену, в частности, совпадение авторского имени на обложке с тем именем, которым нарратор-протагонист обращается к себе. Уверение читателя о том, что все рассказанное в автобиографии, действительно из жизни реального автора, называется Леженом *автобиографическим договором* (Lejeune 1982: 196, 202-203.)

Автобиографический договор – это договор между автором и читателем; он *априорно* убеждает читателя в идентичности автора с протагонистом-нарратором. Кроме совпадения имен протагониста-нарратора с автором, автобиографический договор подтверждается часто и имплицитно: заголовками (в нашем материале встречаются, в частности, заголовки *История моей жизни* и *Воспоминания* и прочие) или предисловием, в котором нарратор обязывается повествовать в качестве автора (Lejeune 1982: 201-203, 219; Савкина 2001: 25).

Значит, согласно Лежену, классическое автобиографическое повествование рассказывается от первого лица; то есть, в повествовании нарратор-протагонист называет себя «я». Согласно Лежену, это личное местоимение первого лица, выражает идентичность нарратора с протагонистом. Таким образом, например, высказывание «*Я родилась в ...*» непременно приводит к подтверждению идентичности нарратора с родившимся. И согласно автобиографическому договору, этот нарратор-протагонист референтируется на своего сочинителя, на реального автора автобиографии. (Laitinen 1995: 42-43; Lejeune 1982: 193, 197, 211.)

Однако, надежность априорного определения жанра текста легко поставить под вопрос, так как нарратология, занимающаяся исследованием повествования и его

принципов, является неспособной решить вопрос о правдоподобности повествования. Отличить фиктивного автобиографического повествования от фактического невозможно – правдоподобность текста можно проверить лишь внетекстовым способом. Причем, автобиографический текст, претендующий на высказывание правды и о себе, и о своем сочинителе, является своего рода парадоксом: его правдоподобность нельзя подтвердить логическим образом (Smith & Watson 2001: 13; Toker 2007: 52-53.)

Зато, априорное определение текста как автобиографии и повествование от первого лица создают *установку на подлинность*, «ощущение которой не покидает читателя», как пишет Лидия Гинзбург (1971: 10). Причем, как Лежен утверждает, подлинность автобиографии может соотноситься с опытом на двух уровнях: своей *точностью* и своей *искренностью*. Точность относится к *информации*, к рассказанным фактам и деталям, между тем, как искренность относится ко всему рассказанному и к тому, как автор-нарратор пытается передать читателю то значение, которое опыт для его и его коллектива имел.

Итак, это исследование не занимается вопросами проверки фактов, а нам интересно, как выше говорилось, именно значение, которое в автобиографическом повествовании придается опыту. (Lejeune 1982: 211-213.)

### 3.3 Автобиография-свидетельство и ее прагматика

В многих из 24-ех автобиографий, которые мы читали для своего исследования, авторы-нарраторы многократно благодарят за возможность рассказать правду о том, как их судьбы (или судьбы их семей) сложились, например, во времена репрессий и перестройки. Хейкки Куянсиву и Лаура Сааренмаа называют это стремление в автобиографическом повествовании *свидетельством*. Свидетельство, вместе с *признанием*<sup>6</sup>, составляют главные виды автобиографического повествования. Свидетельствуя, человек поднимает то, что видел и испытывал; причем он свидетельствует о правдивости всего, рассказанного им. Признающий человек, в свою очередь, обращает внимание на свои собственные поступки и подвергает их осуждению другими. Иными словами, тогда, как свидетельствующий спрашивает у себя *что со мной или при мне сделали?*, у признающего вопрос звучит: *что я сделал (наделал)?* (Heikki Kujansivu & Laura Saarenmaa 2007: 10-11.)

Согласно Леоне Токер (Toker 1997: 192), *свидетельскую литературу* можно понимать в двух смыслах. В узком смысле она относится к этическим целям автора свидетельствовать о пережитых ужасах и катаклизмах. В широком смысле ее можно употреблять как термин о свидетельских показаниях, независимо от того, претендует ли автор-свидетель на свидетельство за или против кого-нибудь или каких-нибудь институций (там же). В нашем исследовании мы понимаем свидетельскую литературу в широком смысле термина, но ее исследования не отличаются от исследования материала, который преднамеренно представляет себя как свидетельство.

Итак, само слово «свидетельство» репрезентирует что-то, отступившее от нормы (Kujansivu 2007a: 36). Свидетель занимается смыслом прожитого, борется против того, чтобы прожитые им трудности не стали бы рассматриваться как нормальные или допустимые (Misztal 2003: 149-151). В свете всего сказанного выше, название нами материала исследования автобиографиями-свидетельствами, определяет наш подход к нему: мы ищем в них элементы сообщения об нарушении норм, и подтверждения, что эта интерпретация нарратором происходящего является правильной.

Куянсиву и Сааренмаа отмечают, что свидетельство и признание являются не только формами повествования, а история считается свидетельством и признанием прежде всего в связи с темой и содержанием повествования (Kujansivu & Saarenmaa 2007: 10). В них

---

<sup>6</sup> Признание обсуждается в этом исследовании достаточно поверхностно (только во своем отношении к свидетельству), так как оно является второстепенным для нашей работы.

описывается что-нибудь чрезвычайно значительно, и именно этот *большой* – для *свидетельствующего и признающего самого, для его общины, или для адресата текста* – *вес их содержания* отличает их от других способов передать прожитое. Это содержание относится, чаще всего, к личным переживаниям или лишениям, или социальным проблемам; словом, к чему-то, нарушившему нормы общины<sup>7</sup>. (Kujansivu 2007 a: 32, 36.)

Термины *свидетельство* и *признание* имеют свои корни в судебной практике. Судебное действие исходит из нарушившего нормы происшествия или ситуации, в которой эти нормы или их применение подвергаются обсуждению. (Kujansivu & Saarenmaa 2007: 13.) Литературный автобиографический акт свидетельства и признания можно сопоставлять с судебным процессом с тем отличием, что тогда как судебные действия претендуют на юридическую справедливость, литературный акт свидетельства или признания имеет моральные цели (Lambek 1996: 239-240; Toker 2007: 52).

Судебная практика основывается на принятии во внимание разных, часто соревнующихся между собой историй об имеющихся значении событиях, и следовательно на сравнении этих историй (Baumeister & Newman 1994: 685). Чтобы аргументировать как можно убедительно свою позицию, люди обрабатывают свои истории, делая из них как можно более убедительные. Например, автор-нарратор автобиографии-признания может признавать свои поступки, но оправдывать их, описывая условия как дающие ему право на его поступок (там же). То есть, сочинение автобиографического свидетельства или признания является, в первую очередь, риторическим актом.

Истории и дискурсы, соревнующиеся с версией автора часто обнаруживаются в автобиографии, и в случае их наличия в ней, они подчиняются авторитету нарратора, который оценивает правдивость этих версий со своей позиции. Несмотря на то, уделяет ли нарратор во своем повествовании внимание другим, соревнующимся со своим взглядом трактовкам хода событий, он приводит ответные аргументы против них, и таким образом реагирует уже заранее на полемику, которую его свидетельство, как предполагается, вызовет.

Шошана Фельман предполагает, что и автобиографическое свидетельство должно пониматься как передание правды о прошлом кругам слушателей и читателей, которых в этом смысле можно трактовать как публику на судебном заседании, касающемся прошлого или будущего (Shoshana Felman 1992 b: 204). Внимание переводится, таким образом, от сущности автобиографии на ее цели, и вопрос «*что такое автобиография?*»

---

<sup>7</sup> Дальше будем ссылаться на нарушение норм и говоря о «ненормальности», так как нарушение норм представляет собой что-нибудь, сопротивляющееся чувства «нормального».

перезадается в форме «*на что претендует автобиография?*» (Anderson 2001: 91), или, на нашем материале: «*на что претендует автобиография-свидетельство?*».

Мы предполагаем, что автобиография ориентируется на читателя – ей *нужно*, чтобы читатель понимал и одобрял ее сообщение. В этом смысле, автобиография-свидетельство – это не только литературный жанр – но скорее, общественная практика, связь между людьми (Лежен 2006: 265). В случае свидетельств, эта связь основывается на упомянутом Фельман заседании, в котором решается вопрос о прошедшем и о том, какие взгляды мы должны иметь о нем.

Тут необходимо возвратиться к автобиографическому договору, так как он действует в две стороны: его подписывают и автор и читатель, но в конечном счете восприятие читателя определяет, принимает ли читатель рассказанное как действительно прожитое или как выдуманное, и удастся ли автору убедить его в значении прожитого. Значит, именно читатель определяет жанр читаемого им текста: роль читателя, действительно, велика. Поэтому Лежен обоснованно говорит, кроме автобиографического договора, и о *читательском договоре*. *Читательский договор* относится к созданию автором установки для чтения текста как автобиографии. (Lejeune 1982: 203, 218-219; Smith & Watson 2001: 28-29).

Однако, чтение автобиографического нарратива не так просто – он богат интерпретациями, как Баумайстер и Ньюман выше утверждали. И сам опыт является интерпретацией. Следовательно нарративы, являющиеся интерпретациями о смысле случившегося, нуждаются в интерпретации, чтобы смысл опыта передалось бы. Анна Кульмала отмечает, что опыт автора не становится опытом читателя – даже в том случае, когда читатель уверен, что *знает* (курсив наш – П. К.), как автор автобиографии чувствовал и воспринимал случившееся. Кое-что, однако, передался; это – интерпретация читателем того, какое значение автор-нарратор придает случившемуся. (Kulmala 2006: 77.)

В этом освещении очевидно, что значения не просто передаются, а скорее создаются во взаимодействии между текстом и читателем. Эта трактовка переводит внимание исследователя автобиографии опять на отношения между текстом и читателем текста: на то, как создается взаимопонимание автора с читателем о смысле жизни, или, по крайней мере, о смысле пережитого автором-нарратором. Внимание переходит к коммуникативному измерению автобиографии – тем способам, которыми автобиография заставляет читателя соглашаться с толкованием, представленным ею о значении жизни, то есть – к риторике автобиографии.

Свидетельствуя, человек обращается за пониманием к читателю, (Felman 1992 b: 204). Автобиография – это вроде апелляции к читателю, то есть от читателя ожидается ответ. Или скорее, от читателя *требуется* ответ. Ответ, который имеется в виду, является, конечно, не конкретным ответом или т.п., а отдаaniem справедливости страдавшему и признанием пережитых им трудностей или страданий. (Kujansivu 2007 a: 32-33, 42.)

На реакцию читателя влияет больше всего мощьность риторики свидетельства. Под риторикой имеем в виду, согласно выше изложенной трактовке Бёка, не осознанное влияние на публику, а коммуникацию, в этом контексте - взаимодействие между текстом и читателем, которое со стороны автора-нарратора стремится к обнаруживанию значения прожитого и к убеждению в нем читателя. Как выше указывалось, для Бёка, основной функцией языка (риторики) является усвоение какого-нибудь *отношения*. Это в контексте автобиографий-свидетельств может означать призывание читателя пониманию и отдаанию справедливости автору-нарратору за испытанное.

Риторическая сила свидетельства создается разными (риторическими) способами, но на конечном счете, о риторической силе свидетельства решает читатель, который чувствует ее влияние. Значит, нарратору автобиографии приходится завоевывать и сохранять доверие читателя (Smith & Watson 2001: 28-29). Это важный момент, так как хотя рассказанное не может достигнуть позиции «правды», оно может быть отвергнутым или даже опровергнутым в сознании читателя. (Kujansivu 2007 a: 35, 46.) Это означало бы пренебрежение к сообщению свидетельства, но, кажется, – и к самому свидетелю. Таким образом, обоснованно сделать, еще раз, акцент на роли читателя как толкователя текста, как воспринимающего употребленных в тексте риторических приемов. Понимание этого приводит к изучению риторических способов свидетельств в качестве важнейших их свойств.



## 4 Конструирование лишения и утраты иллюзий

С точки зрения нашего подхода к материалу, то есть, с точки зрения его рассмотрения как автобиографий-свидетельств о лишениях и разочарованиях, материал исследования можно разделить на четыре разных сферы свидетельств, из которых это исследование занимается двумя последними, сферами 3а и 3б:

- 1) автобиографии-свидетельства об истории страданий и судьбе ингерманландских финнов в Советском Союзе;
- 2) автобиографии-свидетельства о (политических) репрессиях;
- 3) истории взрослений в Советском Союзе, которые описывают развитие личности как постепенное разрушение иллюзий:
  - 3а) описание лишений материального обесценивания, (и описание дефицита), или
  - 3б) утрата иллюзий о коммунистической родине.

Данные свидетельские сообщения перекрывают и дополняют друг друга, нередко проявляясь все в одном и том же автобиографическом нарративе. Все эти свидетельские функции создают элементы нарратива, которые чередуются в автобиографиях до такой степени, что трудно определить целый нарратив как представляющий только одну из этих свидетельских целей. Поэтому анализ будет сосредотачиваться на отрывках текстов – на тех моментах повествования, в которых лишение и разочарование чувствуются наиболее отчетливо.

Так как мы исследуем эти автобиографии-свидетельства как нарративы, конструирующие перед глазами (финского) читателя советские реалии, изучение материала включает исследование текстовых способов автобиографии. Это – исследование риторики, с помощью которой автор-нарратор текста рассказывает читателю о лишениях с целью убеждения того, например, в несправедливости и невысिमости этих переживаний. Как при рассмотрении риторики указывалось, согласно Бёку, основной функцией (риторического) языка является призывание слушателя или читателя к усвоению какого-нибудь *отношения* (Burke 1962: 566), или, как нам хотелось бы в контексте автобиографий-свидетельств сказать, – призывание читателя к пониманию и отдаанию справедливости автору-нарратору за испытанное. Изучение риторики сосредоточивается особенно на тех способах повествования, с помощью которых автор-нарратор стремится к укреплению и изменению отношения читателя, к показу того, что условия, в которых он жил, нарушали (его) представление о



нормальных условиях жизни, и следовательно, его отъезд из этих условий был обоснованным.

Убеждение читателя о неблагополучии условий в Советском Союзе может, однако, быть мотивирован и другими требованиями, которые автор или (финское) общество, в котором он живет, ему предъявляют. Предполагаем, что важным толчком может служить и потребность автора оправдать свой переезд в Финляндию.

До перехода к анализу будем кратко представлять те две автобиографии, на материале которых анализ будет производиться. Первый текст (в списке конкурсных сочинении: 28-ое сочинение, дальше: 28) написан ингерманландским финном, родившимся в Карелии на стыке 1920-ых и 1930-ых годов. Автобиография имеет заголовок «Повесть о ненаступившем рассвете», который относится к истории ингерманландцев и Ингерманландии, или «Inkerin maa», как нарратор к своей родине по-фински обращается в русскоязычном нарративе.

Первая страница состоит из стихотворения о потерянной «Inkerin maa»: в нем на Ингерманландию ссылаются бело-синими оттенками (которые, как известно, являются и символами Финляндии). По нашему мнению, это стихотворение вместе с названием нарратива дают читателю ключи к чтению всей истории. Стихотворение начинается строчками «Белая чайка (которая символирует Ингерманландию – П.К) в синем просторе/ Синее небо, синее море/ ---», но в конце стихотворения синий цвет превращается на серый: «Белая чайка над серой волной/ Серая небо над серой землей/ ---». Для нас, стихотворение и название автобиографии рассказывают (свидетельствуют) о чем-то потерянном, и таким образом и переезд в Финляндию не является возвращением к родине, так как родины-Ингерманландии для нарратора больше нет. История становится, таким образом, историей потери – или, потерь.

В истории можно выделить две части: первая описывает репрессии и ссылки финнов, произвол властей при Сталине; действие колхозных властей и голод. Кроме ужасных материальных потерь, автобиография свидетельствует и о потере родного языка, религии и культуры и насиженных мест – лишения, которые обсуждаются и в значительной части тех 22 русскоязычных автобиографии, которые не включены в это исследование. Политические репрессии, хотя они не обсуждаются в этой работе, образуют одну из важных конструктивных опор текста.

Автобиография, свидетельствующая об угнетении ингерманландцев – сообщает следующим поколениям о чем-то чрезвычайно значительном – значительном не только для самого свидетеля, но и для его общины. Она – как будто утверждение о том, что необходимо

свидетельствовать о трагедии ингерманландцев, особенно, потому что речь идет о массовой трагедии, не все жертвы которой выжили. В этом смысле это свидетельство относится к проекту «проявления ответственности»: Автор-нарратор несет (словами) ответственность за правду о событиях; о том, чтобы несправедливости записывалось в историю. (Anderson 2001: 104; Felman 1992 b: 204; Kujansivu & Saarenmaa 2007: 15; Laub 1992: 78, 84; Misztal 2003: 149.) Итак, в 28-ем сочинении, свидетельства, например о коллективизации и вступлении в колхоз, сопровождаются стремлением свидетельствовать о судьбе ингерманландцев.

Горький тон нарратива меняется со смертью Сталина: «А затем усатый дьявол умер, ---. Теперь я мог ехать, куда хотел, и жить, где хотел. --- Но я не мог думать ни о чем другом, как только о возвращении на родину». (28: 16-17.) С возвращения протагониста в близкие к родным места (родных мест тогда уже почти нет), начинается вторая часть истории. Протагонист активно принимает участие в общественной организации соотечественников-ингерманландцев («Inkerin liitto»). Эта активность как будто естественным образом продолжается подачей заявления на визу, и потом переездом в Финляндию. Автобиография написана от руки и составляет всего 40 страниц текста и две фотографии.

Второе сочинение (58-ое сочинение, дальше: 58) написано сыном финки-ингерманландки и русского. Автор-нарратор родился в начале 1950-ых годов на самом юге СССР, а потом, после нескольких лет, переехал с семьей в Сибирь. Уже при описании своего детства, нарратор комментирует политический климат времени: «Шел конец 50-ых годов, время так называемой, хрущевской оттепели, что означало выход из тесной тюремной камеры в тюремный двор (58: 1)». Текст сильно политизирован и имеет крайне отрицательное, даже презрительное отношение к советской власти. Действительно, метафорическое обращение к власти как к тюрьме, и остальная тюремная тематика составляют важный элемент нарратива: история жизни протагониста конструируется как стремление к освобождению из той тюрьмы, которой оказывается для нарратора-протагониста жизнь в несвободной стране. Текст имеет саркастические оттенки, и нарратор не перестает критически оценивать условия Советского Союза. Он смотрит на явления, с которыми он сталкивается в школе, в армейской карьере, и вообще в быту, как на отражения патологий всей коммунистической системы. Опыт военной службы является кульминацией нарратива: там открываются глаза нарратору, и тот понимает, что живет в несвободном, и в нездоровом обществе. У него возникает желание выйти из этого общества-тюрьмы, в следствие чего он оказывается в Финляндии, которая для нарратора репрезентирует (более) свободную страну. Текст – 32 страницы, написанные на пишущей машинке.

Как известно, обе автобиографии кончаются переездом в Финляндию, но переезд, как мы предполагаем, не является кульминацией нарративов. Правда, этот переезд, и, разумеется, конкурс сочинений послужили толчком к написанию обеих историй жизни, но причины переезда обнаруживаются в нарративах в тех жизненных опытах, которые предшествовали переезду. Сочиняя свою историю жизни, эти авторы конструируют политический и идеологий климат в Советском Союзе. Изображение мрачных сторон советского быта и критика советской действительности развиваются в обеих автобиографиях, в конечном счете, в настолько нарушающий человеческое равновесие масштабах, что жизнь в Советском Союзе становится нетерпимой.

Мы рассматриваем, как эти нетерпимые условия жизни конструируются в этих автобиографиях. В исследовании автобиографий отмечается, что важным наблюдателем политических условий, кроме нарратора и протагониста, в повествовании является и *идеологического «я»*. *Идеология* в этом случае должна пониматься в широчайшем смысле термина – как образ жизни и обыденное осмысление общества. Следовательно, идеологическое «я» – это оценивающий уровень текста, высказывающий свою точку зрения об окружающем мире через нарратора-протагониста. (Billig 1988: 27-28; Rimmon-Kenan 1991: 105-106; Smith & Watson 2001: 61-63.)

В автобиографии идеологическое «я» выявляет отношение нарратора-протагониста (и следовательно автора) к окружающему миру, к концептам, касающимся, в том числе, личности и идентичности, ценностей, норм, общества и смысла жизни – словом, в нем отражается картина мира нарратора (Rimmon-Kenan 1991: 105-106). Такая оценка опыта обоснована авторитетом автора-нарратора: он присутствовал при событии, поэтому он является самой авторитетной личностью для высказывания своего мнения об этом опыте.

Хотя идеологическое «я» является основным понятием для нашей исследовательской цели, в ходе анализа, мы, однако не (эксплицитно) употребляем его, а рассматриваем конструированный в нарративах мир, прибегая, прежде всего, к понятию нарратор, которое, как выше утверждалось, охватывает и идеологическое «я».

## **4.1 Конструирование лишений**

Эта часть анализа посвящается рассмотрению 28-ого сочинения, главной конструктивной опорой которого являются лишения – начиная с первых страниц нарратива. Текст начинается с представления Ингерманландии и родного села автора, и уже на первой странице чувствуется перелом в отношении нарратора к своей среде:

«Обычно к слову «детство», например, в каких-нибудь воспоминаниях, добавляют прилагательные, «счастливое, беззаботное». Таким оно и было, пока я был еще несмышленьшим. Но жизнь, но действительность постепенно приоткрывали передо мной свои не очень розовые стороны. И как оказалось, и как я понял впоследствии, даже совсем не розовые. Заботы родителей со временен становились и моими заботами.» (28: 2-3).

С этих выразительных предложений начинается история жизни автора-нарратора – они служат вступлением к истории автора, которая свидетельствует не только о его собственных мучениях, но и о мучениях его семьи и всего ингерманландского коллектива. Значит, нарратор сравнивает детство, пока оно не перестанет быть счастливым, с тем состоянием, когда ребенок еще не мыслит и не осознает окружающего мира. С пробуждением нарратора-протагониста и осознанием им тех реалий, которые мучают его родителей, и у него, и у читателя открываются глаза. Действительность постепенно «приоткрывается» перед нарратором-протагонистом: розовое заменяется заботами. Соответственно и повествование получает все более субъективные оттенки. Текст продолжается, изображая снабжение населения глазами маленького мальчика дошкольного возраста:

«Как только я немного подрос, мне (приходилось) пришлось ежедневно выстаивать длинные и долгие очереди у деревенской лавочки за килограммом черного хлеба. Это можно было бы принять и за нормальное явление, мол, так оно и должно быть. Но я уже знал из рассказов родителей, что у нас, когда мы еще жили в доме деда, что рядом с нашим, была своя земля, был свой конь, и сам я еще помнил и наше ржаное поле за деревней, и как молотили во дворе, на разостланном брезенте, вручную, цепями. Помнил, как бабушка вынимала из русской печи горячие, пышные, посыпанные тмином ржаные хлебы. И уже тогда, стоя в очереди за килограммом черного хлеба, я понимал, что чаша жизненных весов качнулась не в мою сторону (28: 3)».

Характер лишения раскрывается читателю только позже, но, ему легко догадаться, что в отрывке изображается жизнь с детского ракурса после коллективизации имущества семьи. Отрывок представляет яркий контраст официальному коммунистическому дискурсу, который был крайне красноречивым и абстрактным. Конкретность повествования без всяких ссылок на абстрактный мир идей, который лежал в основе коллективного хозяйства, может быть объяснена, действительно, как сознательный отказ нарратора от официального

советского взгляда на коллективное хозяйство как шага к более равноправному обществу (Tim McDaniel 1996: 46-51). Свидетельство как будто поощряет своего автора-нарратора рассказывать о конкретном опыте и о событиях, при которых он присутствовал, конкретным языком.

Кроме противодействия монополии коммунистической партии на правду, конкретное описание лишений может быть связано с желанием автора-нарратора выразить детский ракурс – тот ракурс, с которого сделаны эти наблюдения. Так или иначе, конкретный подход к окружающей действительности служит все равно мощным орудием критики, и следовательно, показу читателю «правдивой» стороны в изображении лишений семьи, или «правды» о колхозе. Одновременно, детский ракурс подчеркивает аутентичность и невинность наблюдений: ребенок, будучи совершенно неведающим об идеологических и политических идеях, рождающихся в верхних кабинетах правительства страны, может, однако, представлять то, что видел, и наблюдать тот облик, которым идеи обладают в обыденной жизни народа. По нашему мнению, отрывок имплицитно, таким образом, что доколхозный быт со своими предметами, или быт после их лишения – это и есть тот самый мир идеи, который как будто спускается сверху с официального дискурса и меняет действительность народа к худшему.

Лишение олицетворяется в данном отрывке очередью за хлебом, реалией, которая постепенно стала характерной для всей советской повседневности. А хлеб, как известно, составляет основу русского питания. В литературе и повседневной речи он означает нужную для выживания еду (ECRC 2007: 79). Выражение «Хлеб – всему голова» наглядно характеризует место, которое хлеб занимает в русской кухне и культуре (там же). Поэтому обоснованно рассматривать хлеб в данном контексте как репрезентацию всего питания.

Итак, фрагмент свидетельствует о лишениях семьи автора-нарратора, сопоставляя две противоположные друг другу картинки о хлебе. Автор-нарратор начинает уже с того вывода, что положение вещей ненормальное. Килограмм черного хлеба приравнивается к стоянию в долгих и длинных очередях. Одновременно очереди и килограмм черного хлеба сопоставляются с важными символами русского благополучия: с полем, домом и печью. Автор-нарратор останавливается на описании ржаных хлебов, которые бабушка вынимает из печи. Они – горячие, пышные и посыпанные тмином, между тем, как у хлеба, за которым приходится стоять в долгих очередях, как будто нет никаких качеств: его цвет – черный, а и его количество – лишь один килограмм – является недостаточным.

Кроме описания предметов домашнего быта, ненормальность и бессмысленность происходящего подчеркивается еще сопоставлением приготовления хлеба с ожиданием хлеба. Хлопоты изготовления хлеба отражаются движением - это молотильные работы и печение хлеба. Это составляет яркий контраст очереди, где люди стоятся друг за другом – в ожидании, ничем не занимаясь. Ожидание представляется бессмысленным в сравнение со прежним изготовлением хлеба своими руками – и это, сопоставление создает представление о разрушении нормальной жизни с ее рутинной и замещении ее чем-то ненормальным.

Выражение о чаше жизненных весов служит метафорой, сравнивая между собой эти две картинки, сопоставляя потерянные поле, дом и печь – то есть все того, что нужно для выпекания хлеба – с килограммом черного хлеба. Такое сравнение весов приводит, действительно, к выводу о том, что обстановка с очередями не «нормальная» – особенно, если на нее смотреть на фоне бывшего, утраченного, как нарратор делает, утверждая, что «это можно было бы взять и за нормальное явление, ---. *Но ---* (курсив наш – П.К). Именно на этом основывается трагизм отрывка: протагонисту можно было бы смотреть на очереди, как на нормальное явление – тем более, что они, как читателю известно, были в то время явлением, широко распространенным, то есть, «нормальным». Однако, воспоминания о вынутых из своей печи хлебах, не позволяет протагонисту рассматривать очереди за хлебом как нормальные.

С другой стороны, отрывок может читаться как попытка нарратора показать свое младшее «я», несмотря на его юный возраст, как сознающего мальчика, который уже тогда, когда очереди были повседневным, нормальным явлением, умел рассматривать их в заслуженном ими освещении и знал, что положение дел неправильное. Такое стремление авторов-нарраторов показывать себя в хорошем свете можно считать стремлением довольно обычным, но на материале свидетельства оно может оказываться лучшим способом для осуществления нарраторского проекта: автор-нарратор понимает, что он не может произносить ни слова, которое не относилось бы к нему самому как сочинителю текста. (Smith & Watson 2001: 12-13, 61-62.) Поэтому ему выгодно делать из себя надежного наблюдателя своей среды – такого, суждениям которого читатель может доверять.

Дальше нарратор изображает репрессии. Арестовывают деда протагониста, что рождает страх перед тем, что, может быть, скоро и отца арестуют. Нарратор пытается выразить ощущения своего младшего «я» таким, каким он их воспринимал: «Страх рождает ненависть. Но не думаю, чтобы такое глубокое чувство, как ненависть, владело мною тогда, но какой-то душевный дискомфорт я ощущал, это я помню точно (28: 4)». Причем, в этих словах как будто дальше развивается понимание о том, как чаша жизненных весов не

качнулось на сторону протагониста. Эта рефлексия между событиями внешнего мира и их отражением на внутренний мир протагониста отбрасывает своего рода тень на остальной нарратив, или иными словами, повествование ведется на двух уровнях: один уровень рассказывает о пережитом и оценивает его, а другой уровень ищет пояснений, смысла и справедливости.

Дальше описывается, как внезапно обучение в школе начинается проводится на русском языке вместе финского, что нарратор называет «отнятием родного языка», так как все финскоязычные учебники жигаются на детских глазах, и за употребление финского начинают наказывать (28: 4). Это лишение, вместе с другими, которые претерпел протагонист, суммируются нарратором в следующем:

«[Я] уже, хотя смутно, стал ощущать на своих плечах что-то такое давящее. Конечно, осознал я это годы спустя, постепенно. Как и еще многие годы спустя я понял, как ограблен и обманут. Понял, что у меня отняли свой надел земли, отняли веру: закрыли церкви, отняли родной язык, отняли наконец, и родину» (28: 5.)

В отрывке перечисляются лишения, о которых нарратор намеревается рассказывать читателю. Но эта история жизни является не только историей событий, с которыми нарратор-протагонист сталкивался, но и историей развития *чувства* потери. Промежуток времени между тем, как детство кончается и жизнь раскрывает свои совсем не розовые стороны, и моментом, когда протагонист понимает, что он «ограблен и обманут» - многие годы. Реконструкция детских чувств нелегко поддается словам: это «душевный дискомфорт» и что-то «смутное», но одновременно это все, что читатель узнает о внутреннем развитии протагониста. В нарративе читатель не узнает других деталей детства протагониста. Протагонист растет в лишениях: лишения сопровождают его в детстве, и не позволяют ему остаться беззаботным ребенком. Таким образом, история потерь становится историей развития и взросления нарратора-протагониста.

Причем, стремление нарратором изображать детскую реакцию на лишения – с одной стороны, непонимание, и с другой стороны, неловкость – может интерпретироваться как стремление к как можно более правдивому описанию пережитого. Как утверждалось выше, идентичность нарратора с протагонистом, и с реальным автором ставит надежность нарратора под вопрос. Нарратор, сознавая этот факт и то, что каждое высказывание автобиографии не только характеризует автора текста, но и может ставить авторскую надежность под вопрос (особенно надежность утверждений, касающихся самого автора) (Smith & Watson 2001: 12-13), эксплицитно утверждает, что выводы об «ограблении и



отнятии» сделаны взрослым, и события изображаются такими, какими они показываются теперешнему «я».

После того, как нарратор высказывает свое мнение о существе потерь (хотя он признает, что этот вывод сделан гораздо позже) вывод об «ограблении» и «отнятии» ставит свою печать на весь остальной нарратив. Установление этого мнения кажется, однако, важным именно в этом пункте повествования, потому что после его констатации, нарратор позволяет себе более резкий тон, особенно в следующем описании колхозных акций. Голос нарратора наполняется горечью, которая все усиливается в изображении бессмысленности и нелогичности поступков властей на пороге начавшейся войны:

«В 1940-м нас заставили продать корову, а весной 1941-го колхозные «активисты» заставили нас сломать пол-двора, хлев и баню. --- По углам наших домов забили белые колья и объявили, что огороды наши отходят к колхозу, а мы имели право на выход из дома по тропинке до шоссе. Я и тогда не мог понять, какая выгода была колхозу от этой акции. Огороды наши обрабатывались лопатами, трактору развернуться там было негде. Так они и остались незасаженными, незасажеными. А уже летом началась война, и снабжение населения прекратилось. Мы оказались и без коровы, и без огорода, т.е. без картошки и овощей. Это вот еще один из уроков, который мне преподали власти еще в ранней юности. Но я его, этого урока постичь до сих пор не могу: какой в нем был смысл? ---

--- Чтобы что-то отнять, ограбить, запретить – это «товарищи руководители» организовали блестяще. А вот чтобы наладить производство, организовать снабжение – тут уже умения у них не хватало. Казалось бы, ежели ты, власть, все отнимаешь и ничего не разрешаешь, не разрешаешь людям самими о себе заботиться, самими себя прокормить, так снабжай же и корми нас сама! А ты о своих обязанностях и представления не имеешь. А в твои обязанности, (ежели уж ты взял на себя власть, то должен был взять и ответственность) входит также содержать боеспособную армию, которая должна была защитить нас, стоящих в очередях! Иначе твой действия, товарищ Власть, надо квалифицировать, как организация (sic!) голода и блокады! (28: 6, 9)»

Явное чувство горечи нарратора связано несомненно с тем, что отец автора-нарратора умер от голода вследствие прекращения снабжения населения. Первая половина отрывка относится к описанию действий колхозных властей, разговор о которых ведется, опять, на совершенно конкретном уровне. Эта тактика оказывается мощной и убедительной: жизнь в колхозной деревне превращается в список лишений, которые семье нарратора-протагониста надо было претерпеть. Когда описание того, как колхоз забирает у семьи личные участки земли лишает всей идеологической нагрузки, остаются лишь ракурс «я», с которого в нарративе представляются условия быта и ставится острый вопрос о том, как выжить без средств для самообеспечения.

Зачисление имущества в колхозные списки описывается в автобиографии как страшное лишение, которое, может, конечно, пониматься как лишение прав и духа и достоинства человеческого, но прежде всего – это лишение человека средств для



материального обеспечения, от которого, на конечном счете, зависит его выживание. В идеологическом дискурсе, это эффективное орудие: для нарратора, коллективное хозяйство – это не установление равенства, а отнятие частной собственности – это лишь конкретное незаконное отнятие собственности; причем, наблюдаются еще раз слова «отнятие» и «ограбление».

В этом отрывке наблюдается одновременно и принятие автобиографического субъективного ракурса, и стремление избавиться от его ограничений. Сила автобиографического повествования заключается, таким образом, в его аутентичности. Но аутентичность автобиографии относится не только к подлинности, но и к субъективности изображенных восприятий. Субъективность, в свою очередь, может ставить интерпретации автобиографического «я» под вопрос: может быть, более «объективный», не искаженный одной точкой зрения взгляд, истолковал бы положение вещей по-другому. Поэтому, как видно из этого примера, в автобиографиях наблюдается и стремление преодолеть субъективность ракурса, чтобы сделать его более надежным, объективным. Лишения перечисляются в предметах: корова, пол-двора, хлев, баня, огород, а потом и снабжение населения продуктами; причем даются и точные годы, когда это все произошло. Точность не только уточняет читателю, насколько масштабными эти акции были для жизни семьи автора-нарратора, но и служат объективным доказательством. Прибегая к изображению деталей событий, нарратор убеждает читателя о том, что эти факты могли бы наблюдаться любым человеком, то есть наблюдение не извращено ракурсом нарратора-протагониста. (Kirsi Juhila 1993: 158-161, 168.)

Колхозные акции изображаются в тексте в виде списка следующих одна за другой потерь. Точность убеждает читателя в фактуальности нарратива, но одновременно создает нужное для проекта автора-нарратора впечатление о «спускающейся кривой», которая служит точным указателем постепенных лишений семьи (Juhila 1993: 168, 172). Ужас события становится ясным читателю при обнаружении, что вскоре после этого снабжение населения прекратилось из-за войны, и семья нарратора-протагониста осталась без самых необходимых продуктов, в частности, без картошки.

В кривой, которая изображает движение вниз – от зажиточного хозяйства до полного лишения всего необходимого для выживания, отражается все бессмысленность колхозной жизни, хотя, как замечаем, автор-нарратор сам слова «забирание личных участков земли» не употребляет. Наоборот, он рассказывает о нем более конкретными терминами: «корову заставили продать»; «пол-двора заставили сломать»; «по углам домов забили белые колья», и жителям домов осталось «право на выход из дома по тропинке». Это все –

непонятные со стороны власти поступки *«отнятия, ограбления, запрещения»*. Особенно наглядным в этом описании является использование слова «право»: в цепи следующих одно за другим лишений, единственным, хотя лишь символическим, правом остается выход из дома до шоссе.

Автор-нарратор с горечью ссылается на лишения как на «уроки, которые ему преподали власти», но как он признает, до сих пор их не понимает. Действительно, когда эти события располагаются друг за другом в одну кривую, на одной конце которой дом, двор, корова и огород, а на другом конце только право выйти из дома до шоссе, вся цепь лишений кажется бессмысленной – особенно, так как, согласно автору-нарратору, колхозу не было никакой пользы от огорода, который мог бы позже кормить семью. В своих попытках обнаружить смысл в прожитом, нарратор прибегает к сопоставлению колхозных акций с их результатами, и спрашивает, оправданно: Какие могло быть цели этих акций? И сразу отвечает на свой вопрос, что понятной цели у них и не могли быть. Трагизм отрывка строится именно посредством этого сопоставления: для нарратора, конечный результат событий показывается, по крайней мере, ретропрективно настолько очевидным, что для него невозможно представить другой конец.

Нарратор видит во своих страданиях только их бессмысленность и до сих пор не понимает, для чего все произошло. В данной автобиографии, как выше уже не раз предполагалось, важную роль играет стремление к осуществлению справедливости, а особенно – к тому, чтобы читатель отдал справедливость автору-нарратору. Такое впечатление сохраняется у читателя этой автобиографии – пока нарратор не начинает обращаться к «власти» на «ты». В момент этого поворота проблематизируется прежде всего вопросы о авторстве и адресате автобиографии.

Во своих попытках понимать пережитое, автору-нарратору все и не удается найти смысл в нем. Таким образом, вина властей – двойная в глазах автора-нарратора – они не только обрекали на голод и смерть своих граждан, отнимая у них имущество; но и делали это, как нарратор представляет, напрасно. Это вызывает у нарратора чувство сильной горечи, которая еще более усиливается пониманием того, что властей, виноватых во всем этом, больше нет. Нет никого, кто мог бы ответить за страдания, пережитые автором-нарратором. (Jeffrey Olick 2007: 154-157.) Может быть, в связи с этим текст, написанный, как предполагается, для финского читателя (к которому текст однако же прямо не обращается), внезапно прерывается тем, что нарратор обращается к «власти» на «ты», спрашивая у нее самой о смысле прожитого.

Такое непредвиденный поворот в нарративе вызывает многочисленные вопросы, самым интересным из которых для нас будет следующий: какие изменения динамика отрывка, да и динамика всего автобиографического свидетельства, переживает, когда нарратор вступает в диалог со своим противником, который больше не может нести ответственность за свои поступки и который, во всей своей абстрактности, никогда и не был способен возражать против обвинений. Начинаем рассмотрение риторики этого поворота с утверждения Эмиля Бенвениста, согласно которому «я» рождается в тексте только в отношении к личному местоимению «ты». Эти два конца текстового плана являются в постепенном соотношении так как «я» употребляются только при уверенности того, что у сочинителя текста есть адресат, «ты». (Laitinen 1995: 44.)

В соотношении между «я» и «ты» нет ничего удивительного, мы принимаем его как само собой разумеющиеся. «Я» возникает в автобиографическом тексте, и сразу идентифицируется как относящееся к самому рассказчику текста, как Бенвенист отмечает (Lejeune 1982: 196-197.) «Ты» автобиографического текста редко эксплицитно определяется, хотя в некоторых случаях и в нашем материале нарратор прямо обращается к читателю. Возвращаясь к анализу отрывка, убеждаемся, что текст ориентирован на читателя, так как при обращении к «власти», нарратор систематично повторяет «ты, *власть*», чтобы указать читателю, против кого направлены эти упреки.

Поэтому, обращения к власти должны, по-нашему, считаться в этом контексте демонстрацией автором-нарратором своего горя. Ссылаясь на картинку, созданную Шошаной Фельман выше о автобиографическом свидетельстве как о судебном заседании, мы отмечаем, что этот отрывок наглядно отражает главную особенность данного, предполагаемого нашим автором заседания: виновников в зале нет. Таким образом взаимодействие между автором-нарратором и читателем является лишь бледной тенью, лишь частичной неполной репрезентацией (реального) судебного заседания, которое могло бы удовлетворить желание восстановить справедливость пострадавших.

В данном отрывке, горечь возникает не только из-за понимания того, что ответа на вопросы невозможно получить; но и от осознания того, что нет никого, к кому можно с этими вопросами обращаться. Значит, особенно на материале этого отрывка, ситуация свидетельства безвозвратно несимметрична. Несмотря на это, как мы интерпретируем, нарратор как будто больше не сдерживает себя, а обращается прямо к «власти». Это служит своеобразной попыткой добиться справедливости: нарратор пишет свой текст читателю, понимая, что третьего лица, власти, среди читателей нет. В этом явно чувствуется

неравномерность свидетельского акта: у ракурса «я» не хватает адресата «ты», который мог придать смысл страданиям.

Тут мы хотим сослаться на цитированную выше идею Виеды Скультанс о том, как воспоминание о страдании может преследовать человека своей необъяснимостью. Скультанс предполагает, личная трагедия может получить объяснение только на фоне трагедии всего общества (Skultans 1998: 47). Однако, в этом отрывке нарратор не утешается трагедией всего коллектива. Наоборот: он ищет ответа на переживания всего коллектива. История жизни нарратора очень трудная, полна страшных переживаний: проживание в Сибири, аресты родственников, действие колхозных властей, война, голод, блокада Ленинграда и больше чем 20-и летнее скитание по стране следуют друг за другом в первой половине нарратива. Снова и снова, повествование возвращается к вопросам вины, смысла прожитого, и, следовательно к вопросам об ответственности.

Эти вопросы остаются нерешенными, но их объединяет черта, которая оказывается тематически даже более значительной, чем невозможность получить ответы на вопросы. По нашему мнению, явления, о которых нарратор свидетельствует, конструируются в тексте как ненормальные, и следовательно, вся Советская власть становится репрезентацией этой совокупности ненормальностей, превращаясь в аномалию. Текст богат примерами непонятных поступков, совершенных властями: очереди за хлебом, который раньше пекли дома; отнятие у людей средств выживания и неспособность обеспечивать их чем-нибудь другим взамен; ломка и разрушение без повода и без взятия на себя ответственности; неумение и безответственность со стороны руководства страны; и, что оскорбительнее всего – виновность без наказания...

Обращаясь к этим вопросам, нарратор конструирует свое представление и о нормальном, и о нарушении нормы, и защищает свои взгляды о нормальном против ненормального, прибегая к общеприемлемым представлениям о нормальном, о хорошем и приличном. Следует отметить, что критический взгляд на общество может возникать только при знании и нормального, и его противоположности. Поэтому, одновременно с тем, как нарратор представляет советские условия как ненормальные, он конструирует из протагониста *нормального* наблюдателя *ненормальной* среды.

Финскому читателю легко видеть в протагонисте себя, так как нарратор постоянно обращается к тем нормам, которые близки финскому сердцу: он апеллирует к трудолюбию, собственному хозяйству и заботе о нем, и к праву на частную собственность. Причем, он подчеркивает ответственность, которую правительство страны должно нести за народ. Конечно, данная автобиография позволяет много возможных подходов к ней, но наша

работа, занимаясь прежде всего политическим сообщением нарративов, уделяет внимание политически-идеологическому проекту нарратора.

В середине нарратива, рассказывающего о 1940-ых годах, нарратор приводит пример из более поздних, недавних времен, и ссылается на катастрофу Чернобыльской атомной электростанции в 1980-ые годы. Опять же, виноватые в катастрофе «организаторы начищают свои ордена» (28: 10). Ссылка на катастрофу указывает читателю на непрерывность ненормального поведения властей, и опровергает возможные противоположные утверждения о том, что (пост-сталинская) советская действительность, допустим, жизнь в 1980-ые годы, значительно отличается от 1940-ых годов. Причем, пример об чернобыльской катастрофе доказывает, еще раз, как ненормальность распространилась с уровня правительства страны и на другие слои общества. Нарратор решительно продолжает свой проект и устанавливает связь между лидерами военного времени, начальством Чернобыльской АЭС и распадом СССР: «Немудрено, что с такими хозяевами весь этой большой колхоз, называвшийся СССР, разорился и развалился» (28: 10).

Самым важным моментом в проекте нарратора свидетельствовать об ненормальности Советского Союза является судьба родины-Ингерманландии и соотечественников-ингерманландцев. Автобиография разделена на части, обозначенные подзаголовками, начиная с «Детства», кончая подзаголовком «Мы теперь здесь (в Финляндии – П.К.)». Среди лишений протагониста, самым горьким, непонятным и непростительным является лишение родины, на что ссылается подзаголовок «Запрещенная и недоступная родина. Отбывание наказания без совершения преступления», являющимся самым длинным из подзаголовков и единственным, представляющим целый аргумент, похожий на оксюморон: «наказание без совершения преступления». И опять, это аргумент, говорящий об аномальном положении вещей: лишение родины остается непонятным и несправедливым, как наказание без преступления.

Однако, 1953-ый год служит переломом нарратива: наступает свобода жить, где хочется, но возвращение на родину происходит только почти через десять лет после смерти Сталина. Конкретное возвращение на родину сопровождается возвращением к кругу «своих», участием в действии организации ингерманландцев-соотечественников, «Inkerin Liitto». Текст описывает страницами попытки связываться с выжившими в репрессиях и ссылках жителями родного села, и истории других выживших ингерманландцев, а вывод печальный: выживших только несколько. Через «Inkerin Liitto» открывается возможность поехать работать в Финляндию, возможность, которой дочери протагониста пользуются, и потом окончательно переезжают в Финляндию.

## 4.2 Разочарование в коммунистической родине

Теперь переходим к рассмотрению второго текста, чтобы установить особенности обоих текстов и способов, с помощью которых в них рассказывается о разочаровании. Как отмечено, первая автобиография подражала развитию памяти и детского воспринимания: значения, которые автор-нарратор придавал изображенным им лишениям, не были доступны детскому пониманию, а могли бы быть толкованы как передача детских наблюдений. Второй текст обусловлен, однако, не столько подражением механизму памяти, сколько стремлением к «построению нужного образа» о самом нарраторе-протагонисте, и прежде всего об условиях жизни, в которых он вырос.

Каждый автор-нарратор выбирает, отбирает, отодвигает, соотносит нужные ему элементы, чтобы строить из протагониста и обстоятельств с помощью отбора и памяти (или скорее, отбора памяти) образ, который желает представить читателям (Smith & Watson 2001: 60; Гинзбург 1971: 10, 20.) Однако, можем утверждать, что важнейшим различием повествования между этими двумя автобиографиями является ракурс. Оба текста начинают историю жизни с изображения детства, но они, конечно, не могут избежать того факта, что значение судьбе придается ретроспективно, и это значение опыта испытывает изменения в течение времени. Таким образом, на воспоминание влияет прежде всего момент, в который оно восстанавливается в памяти (Smith & Watson 2001: 16; Гинзбург 1971: 11-12; В. В. Нуркова 2000: 174). В этих текстах (взрослый) нарратор является субъектом повествовательного акта; объектом которого (детский) протагонист становится (Smith & Watson 2001: 60). Цитируя выражение Ириной Савкиной (2001: 23), точка зрения протагониста, «того Я, который *был*, «поглощен» точкой зрения того Я, который *есть сейчас*». Или точнее, нарраторский голос, «я», который есть сейчас, покрывает всех бывших «я» (Smith & Watson 2001: 61).

Итак, первый текст избегал взрослых интерпретаций, хотя употребленные в нем выражения, как например «чаша жизненных весов», относятся к взрослой лексике, но во второй автобиографии в тексте отчетливо слышен голос нарратора таким, каким он является в момент написания. Именно таким образом создается критический оттенок текста: читатель наблюдает презрение автором-нарратором к советским условиям, в частности, в случае эксплицитных выражений гнева, которые внезапно прерывают довольно нейтральное повествование о детстве автора-нарратора, например:

«Одной из главных причин такого решения (переезд в Сибирь – П.К.) было то, что там легче было найти квартиру. Дефицит жилья в то время наблюдался ужасающий, потому что товарищ Сталин строил много концлагерей (sic!), но практически не строил жилых домов (58: 2)».

Нетрудно заметить, что резкий тон таких отрывков сближает этот нарратив с отрывком из предыдущей автобиографии, затрагивавшим колхозные акции. Свое раннее детство нарратор описывает как счастливое, но замечания, похожие на приведенное выше, не позволяют читателя забыть, что общество, в котором протагонист растет, является менее счастливым. Кроме намеков на совокупность патологий советского общества, данная автобиография уделяет много внимания описанию нравов и общей обстановки времени.

Общим у данной автобиографии с автобиографией, представленной первой, является горький тон, и нередкое мелькание черного, не менее горького, юмора. Протагонист разочаровывается в коммунистической системе о взрослом возрасте, но нарратор выражает это разочарование, начиная с первой страницы, что отличается от нарраторского тона первой автобиографии, который переходит к более сильному выражению только изображая повороты, изменяющие жизнь протагониста. Нарратор 28-ого сочинения как будто выражает своим повествовательным голосом изменения во внутреннем мире протагониста.

Ниже приводится отрывок о том, как протагонист начинает ходить в школу. Утраты веры в коммунистическую родину, однако, еще не произошло. Создается своеобразный диалог между детским ракурсом, который искренне поддерживает идею о превосходности своей родины, и взрослым ракурсом, который знает уже намного больше, чем свое младшее «я»:

«И, конечно же, с самых первых дней пребывания в школе на нас обрушилось мощное давление коммунистической идеологии. Нам постоянно напоминали о том, какое у нас счастливое детство в отличие от детей, живущих в странах капитализма, о том, как заботится о нас родная коммунистическая партия, и не менее родное советское правительство, нам приводили душераздирающие примеры из жизни несчастных людей в буржуазных странах, где по словам Никиты Хрущева, человек человеку был волк, тогда, как у нас непременно друг, товарищ и брат. Если учесть, что об этом говорилось еще и по радио, телевидению, с экранов кинотеатров, то, конечно усомниться в правдивости этого, особенно ребенку, было просто невозможно. И даже, когда в период страшного продовольственного кризиса, восьмилетним мальчиком я с пяти утра стоял вместе с сестрой и родителями в мрачной очереди, ожидающей привоза хлеба, я был уверен, что мне очень повезло родиться именно в этой, самой правильной в мире, стране потому что я точно знал, что большинство детей где-нибудь в Италии, вообще, хлеб видят очень редко. Уже в первом классе нас приняли в октябрята, ---. Помню, после принятия с нас взяли торжественное обещание, что все мы, когда станем взрослыми, будем коммунистами, и это обещание я, к сожалению, сдержал. (58: 3-4.)»

Отрывок является плодотворным в своем отношении к утрате веры – особенно, когда он сравнивается с изображенными в первой автобиографии лишениями. Данный отрывок



рассказывает не о материальных лишениях, но каждое его предложение выражает полную утрату уважения к коммунистической родине. Протагонист еще не сталкивался с обстоятельствами, которые лишили его иллюзий о коммунизме, но тон отрывка имплицитно указывает, что когда-то между изображенным тут детством и моментом написания текста, протагонист разочаровался в системе. Может быть, в другом случае, мы могли бы читать о счастливом детстве, которое теперь видится только мельком: ссылки на кинотеатры, чувство озабоченности и торжественное событие принятия в октябрята могли бы быть причиной гордости и радости.

Наоборот, в отрывке сопоставляются чувства благодарности маленького мальчика за то, что ему повезло родиться в Советском Союзе с сарказмом, проявляемым взрослым нарратором в отношении к своему детскому «я», и действительно, отличаем точки зрения нарратора, который теперешнее, пишущее «я», и протагониста, который относится к детскому «я». Как указано выше, хотя нарратор описывает детские чувства, он не тот, кто переживает детство. Соответственно, это не нарратор, который наблюдает свою среду, который ходит в школу, который слушает радио, и который, глядя на все окружающее его, думает, что живет в самой благополучной стране в мире. Это детское «я», которое все это испытывает, но рассказывает об этих впечатлениях нарратор. Немного упрощая, нарратор передает то, что воспринимает ребенок. (Rimmon-Kenan 1991: 92-94.)

Хотя нарратор повторяет речь, которую его детское «я» слышало везде, присутствие в повествовании взрослого ракурса видно в более высоком уровне знания об обстановке того времени и более искусной лингвистической компетентности нарратора. (Rimmon-Kenan 1991: 94; Smith & Watson 2001: 61.) Это видно, начиная уже с утверждения, что представление, которое восьмилетний мальчик имел о своей коммунистической родине и капиталистических странах, было извращено «мощным давлением коммунистической идеологии». В общем, описание тогдашней ситуации сильно окрашено точкой зрения взрослого «я». Однако, не только его ракурс влияет на структуру повествования. На самом деле, как выше утверждалось, динамика отрывка основывается на диалектике между двумя ракурсами, взрослым и детским, с которых текст смотрит на детский возраст автора: теперешнее «я» придает значение опыту детского «я»,

Отношение теперешнего «я» к сильно искаженной действительности своего младшего «я» является настолько двухсторонним, что текст может читаться или как простое свидетельство («меня заставили верить») или как признание («я искренне верил»). Так или иначе, критика советского общества чувствуется в обеих интерпретациях. Кроме критики, устанавливаем в обоих истолкованиях намерение нарратора конструировать из своего



детского опыта в Советском Союзе что-то, не позволяющее смотреть на советское общество как нормальное, в этом случае правдивое и достойное уважения, общество.

Как теперешнее «я», так и читатель текста понимает, что свет, в котором капиталистические страны в этом отрывке представляются по радио, телевидению и на киноэкранах, является сильно извращенным. В отрывке представляется картина об обществе, в котором считающиеся самыми надежными, и, следовательно, заслуживающими большой авторитет институции, дают искаженное представление не только о мире вне Советского Союза, но и о самом Советском Союзе, так как мнение о превосходстве коммунистической родины создано в сравнении ее со злополучными странами капитализма. Позже, разумеется, автор-нарратор видит, что страны капитализма были ложно представлены, и вместе с этим, коммунистическая родина оказывается, ретроспективно, не такой уж правильной и благополучной.

Итак, свидетельствуя о том, что идеология пронизывает все советское общество насквозь, теперешнее «я» называет это уже «давлением коммунистической идеологии». Это давление было для его младшего «я» всей окружающей действительностью, «правдой» о своей родине. Однако, изображение былого сильно окрашено приближающимся к горечи сарказмом, который проявляется особенно во двумысленном, ироническом употреблении лозунгов «счастливое детство», «родная коммунистическая партия», «человек человеку друг, товарищ и брат» и «самая правильная в мире страна». Красноречие и пафос этих лозунгов, через очки которых коммунистическая идеология обращается к окружающей действительности, становятся символами «официального» дискурса, убедительность которого, как нарратор утверждает, основывалась на его всеобъемлемости.

Причем, этот нарратив интересным образом сопоставляется с повествованием 28-ого сочинения. Употребление нарратором лозунгов, часто повторяемых в средствах массовой информации, отличается от языка первой автобиографии, прибегавшей к очень конкретному изображению условий. То есть, между тем, как первый текст боролся с официальным, пафосным дискурсом своей конкретностью, второй текст противостоит этому высокому стилю, пользуясь материалом из самого этого дискурса, но сопоставляя его с тем знанием, которым обладают теперешний «я» и современный читатель. Таким образом, создаются две картинки о маленьком мальчике, стоящем в ожидании хлеба: одна, которая сопоставляет очередь за хлебом с потерянным имуществом семьи, и вторая, в которой благодарность мальчика за добытый хлеб сочетается в глазах нарратора с ложью, в которой он вырос. Конструируя свой детский опыт как проникнутый ложью, нарратор, согласно нашему толкованию, стремится, похожим на нарратора 28-ого сочинения образом, к

указанию на то, что обстановка его детства не нормальная, а извращенная. Тот же самый проект продолжается вплоть до конца нарратива о жизни автора-протагониста.

Подчеркивание нарратором убедительности официального дискурса служит и оправданием веры младшего «я» в коммунизм. Причем, в отрывке не столько чувствуется самооправдание нарратора, сколько в нем проявляется горькое обвинение системе, которая убедил младшего «я» нарратора во своей правильности. Как выше отмечалось, в этом смысле в отрывке проявляются черты не только свидетельства, но и признания. Ниже эти черты изучаются подробнее.

Нарратор описывает речь о превосходстве коммунизма и Советского Союза как всеохватывающую: она провозглашается по всем средствам массовой информации, а что еще более эффективно – она внушается детям школьным воспитанием. Причем, как нарратор указывает, и глава партии и государства, самая авторитетная в детских глазах фигура, тоже агитирует за коммунизм. Коммунистические лозунги в этом отрывке не только представляют официальный дискурс – для маленького мальчика они и *есть* окружающая действительность: голоса по радио и лицо Хрущева по телевидению утверждают слушателя в реальности и правдивости этих речей.

Эти голоса, как они в нарративе конструируются, являются для детского «я» ничем иным, как утверждением того, что ему действительно повезло, когда он родился в этой благополучной стране. Если сослаться на представление другого нарратора о нормальном, «счастливым» детстве, у читателя нет никаких причин не верить, что детство протагониста 58-ого сочинения было счастливым. Оно, однако, конструируется в нарративе как ложное, что, как мы предполагаем, подходит нарраторскому проекту лучше, чем описание счастливого детства.

В любом случае, младшее «я» становится коммунистом. Членство в Коммунистической партии было делом обычным и крайне желательным в 1960-ые годы, к которым данный отрывок автобиографии относится. Поэтому оправдания от лица автора-протагониста за то, что он стал коммунистом, являются ненужными для читателя. Независимо от того, оправдывает ли нарратор веру в коммунизм перед читателем или перед самим собой, он прибегает к аргументу о всеобъемлемости идеологии.

Признание «я стал коммунистом» смягчается описанием всеохватывающей пропаганды и повторением множественного числа, когда речь идет о детях: в школе «на нас обрушилось мощное давление» и позже «с нас взяли (оба курсива наши – П.К.)» обещания стать коммунистами. Нарраторское «я» превращается в «мы», чтобы уверить читателя в масштабности изображаемого собой положения: как будто восприятия «я» не уникальны, а

являются только частью множества похожих «я», из которых составляется «мы» народа. Нам кажется, что нарратор сознает, что утверждение о репрезентативности опыта немедленно вызывает вопрос и о том, чья история может трактоваться такой, что в ней отражается история всей страны (Anderson 2001: 104). Поэтому пример о школе является особенно убедительным, то есть репрезентативным, примером: все дети ходили, как ходят и сегодня, в школу. Таким образом, утверждается, что младшее «я», ставши коммунистом, не было исключением – а наоборот: шло по той же дороге, как и остальные. Причем, имплицитно, что его опыт был опытом достаточно обычным.

Нарратор представляет детскую оценку о тогдашней действительности как, согласно царившимся тогда нормам, о нормальном и приличном обществе. Перелом в повествовании создается именно голосом нарратора, который уже знает правду об обстановке, хотя он, очевидно, узнал ее только много лет спустя. Эта позиция нарратора позволяет ему ставить эту обстановку под вопрос и критиковать ее (Airaksinen 1994: 20-22). Взгляд нарратором на прошлое с определенной дистанции и сравнение своих теперешних данных с данными, которые имело детское «я», наполнено сарказмом.

Сарказм проявляется особенно в изображении продовольственного кризиса, который становится обострением отвращения нарратором к коммунистическому прошлому страны: «И *даже*, когда... (курсив наш – П.К.)» Но для него это не только дефицит продуктов, не только то, что маленькому мальчику надо было вставать среди ночи, чтобы стоять в очереди в ожидание самого основного (как выше указывалось) в русском питании продукта. Прежде всего, язвительные чувства у нарратора вызывает воспоминание того, что, несмотря на такую ненормальную обстановку, маленький мальчик верил, что ситуация не плохая, а лучше, чем в других стран (странах капитализма).

Значит, в этом ретроспективном взгляде на дефицит нарратор балансирует между (само)оправданием и (само)обвинением. Дефицит становится кульминацией детского возраста – но и он не может поколебать чувство благодарности младшего «я» к коммунистической родине. Кажется, именно эта благодарность является бóльшим источником горечи для нарратора: для него советская власть создала не только ненормальные условия жизни, но и заставила его (его младшего «я»), как и других детей, поддерживать ее и считать эту страну превосходной. Лишением, потерей для автора-нарратора оказывается таким образом та уверенность в правильности коммунизма, которая характеризовала отношения его младшего «я» к своей родине.

Дальше нарратор изображает суровый школьный возраст с постоянными драками ребят, но напоминает одновременно читателю, или себе самому, что:

«Ни в коем случае не хочу сказать, что жизнь наша состояла из одних только мрачных сторон. Все равно мы были счастливы, мы играли в футбол, ---. И ждали окончания школы, строя планы на будущее. Оптимизм всегда был отличительной чертой советского общества, потому что оптимист, говорят – это плохо информированный пессимист. Уровень информации, ---, всегда давал советскому человеку повод для совершенно неоправданного оптимизма, ---. (58: 6.)»

Это напоминание нарратора можно интерпретировать как выражение предчувствия, что читатель может толковать повторяющиеся описания и эксплицитные утверждения о «постылой действительности» и «суровой повседневности» (58: 4), как доказательства того, что жизнь в этом обществе была столько же унылой. Но скорее, как нам кажется, нарратор борется со своими двумя представлениями о своих юных годах, договаривается о них «между собой». С одной стороны, у него есть свой свидетельский проект, намерение рассказать о недостатках советского общества. С другой стороны, нарратор не хочет отвергать, что он был и счастливым юношей, или, как повторяющееся множественное число «мы» предлагает, что молодежь вообще была счастливой. И сразу же, нарратор подрывает оправданность юного оптимизма саркастической ссылкой на «плохоинформированность». Таким образом, и молодой оптимизм приобретает политическую окраску, и воспоминание о юных годах создается как политическое. Подобно этому наблюдению, в ходе текста нарратор связывает и другие повседневные явления с более широким, идеологически окрашенным контекстом. Нарратор не перестает доказывать, что, повседневность, в частности, поведение людей, имела свои корни в извращенности коммунистической власти.

Дальше протагонист поступает на армейскую службу. Именно опыт армии лишает протагониста его веры в коммунизм. Изображение этого опыта занимает большую часть автобиографического нарратива, и составляет, во всей его суровости, тематическое единство с тюремными метафорами, которые, как выше, при кратком представлении этой автобиографии отмечалось, нарратор неоднократно употребляет при описании советского общества. Армия и войска, как протагонист обнаруживает в течение многих лет, – это среда, которая поддерживает хищные и лицемерные отношения между людьми. Опять же, нарратор устанавливает связь между армейским опытом и общими тенденциями, царившими в тогдашнем обществе.

Итак, нарратив делится опытом, приобретенным протагонистом в течение его армейской карьеры, и история жизни автора-нарратора постепенно превращается в картину об обществе, в котором процветают «тюремные» нравы. Повествование останавливается на тщательном изображении обстановки, особенно обстановки советского армейского быта. Например:

«Пример произвола и хамства подавался с самого верху. Генерал, кричащий матом на офицера в (sic!) присутствии солдат и лишаящий подчиненных законного выходного дня, попирает устав и творит произвол по причинам той же самой дедовщины, так как действовал не с позиции закона, а с позиции сильного. Истоки всего этого нужно было искать в сути самой системы государства, положившего начало своему существованию с вооруженного поворота и существовавшего в дальнейшем лишь с помощью насилия, масштабам которого трудно найти примеры в мировой истории. --- Как в тюремной обстановке, лидером здесь мог стать лишь сильный. (58: 15, 17.)»

Этот отрывок обсуждает произвол и насилие, темы, которые присутствуют в течение всего изображения армейской жизни. Это сферы армейской жизни, на которые нарратор не перестает ссылаться и которые не перестают представлять для него что-то непрерывно сопротивляющееся порядку жизни и ценностям справедливости и мирного сосуществования, которые внутри повествовательного проекта представляют как представления нарратора о нормальном, между тем как армейские условия, противореча мирности и справедливости, конструируются как ненормальные, или, как тюремная метафора предполагает, даже аморальные.

Армейский опыт подавляет протагониста не только своей незаконностью и произволом, а прежде всего тем, что нарратор находит в нем отражение господствующих в стране властей. Значит, армия репрезентирует весь СССР, только в уменьшенном масштабе. Отсутствие закона – прежде всего в армии – а потом, аналогично, и в остальном обществе, мучает нарратора. Незаконность представляется читателю, как нежелательное, но укоренное свойство армейской системы – свойство, которое находит свое отражение в системе государства. Постепенно насилие превращается в характерную черту советской власти, и его наличие в армии становится лишь доказательством вездесущности и проницаемости этой черты государства во все уровни и учреждения общества.

Незаконность обстановки напоминает нарратору еще раз о тюрьме, на которую он ссылается и, тем самым, изображая армейскую действительность самыми черными красками. Нарратор, однако, прерывает свое изображение армейской жизни, чтобы защитить свою позицию против потенциальных гневных откликов от тех, кто вспоминает о советском времени с хорошим чувством:

«Внешняя показуха, начиная от публикуемых в газетах приукрашенных фактов и фальшивых производственных показателей и кончая военными парадами, были неотъемлемой частью уникальной в своем роде советской государственной системы. Не имея возможность улучшить действительность, власти пытались улучшить ее видимость, что, в целом, им удавалось, о чем говорит (sic!) звучащие еще порой сейчас чисто эмоциональные утверждения, о том, что «жизнь тогда была лучше». (58: 16.)»

Как выше отмечалось, свидетельский акт исходит из разногласия и стремится, следовательно, к попытке представить событие в свете, который не допускает разногласий.

Тут нарратор как будто вступает в диалог с обратными утверждениями, согласно которым жизнь в советское время «была лучше». Нарратор опровергает эти утверждения двумя аргументами: он считает, что, в-первых, аргументы противников основаны на незнание фактов о том времени, и во-вторых, эти утверждения чисто эмоциональные, в отличие от (его) рациональных аргументов. Таким образом, для нарратора, причиной всякой ностальгии по советскому времени должно быть непонимание того, что, чтобы видеть настоящее лицо советской государственной системы за парадным фасадом, человек не должен полагаться ни на одно произносимое самой этой системой слово.

Точнее, положительные оценки советской власти основываются, согласно нарратору, на *видимости* ситемы. Видимость же не является настоящей стороной вещей, к которой у протагониста был, благодаря его армейской позиции, доступ, как он неоднократно подчеркивает. Владеющий данными, недоступными публике, и достаточно рациональным подходом к прошлому страны, нарратор стремится к убеждению читателя, что его взгляд должен, действительно, приниматься при всяком рассмотрении советского прошлого. Более или менее имплицитно в отрывке заложен аргумент, что каждый согласился бы с ним, если бы имел за плечами подобный опыт.

Эта черта нарратива должна, по нашему мнению, пониматься как один из главных проектов нарратора. Именно исправление истории и наших представлений о ней-то, к чему он стремится. Он обладает авторитетом из-за его прежней, относительно высокой позиции в армии и (секретных) документов, к которым у него был доступ (Juhila 1993: 178-179). Превращая историю своей судьбы в нарратив, разоблачающий самую главную «правду» о Советском Союзе и его политике, эта автобиография становится мощным политическим орудием: Это не только описание собственной истории автора, а прежде всего описание истории страны. (Kujansivu 2007 a: 46; Smith & Watson 2001: 18-19). Одновременно нарраторский проект осложнен тем же самым фактом, который обеспечивает нарратора авторитетом: нарратор понимает, что читатель может быть неуверенным в надежности нарратора-протагониста именно из-за того, что он пользовался таким авторитетом в системе, которую он теперь так беспощадно критикует.

Опять заметим, что политически заряженные автобиографии-свидетельства затрагивают те же вопросы, которыми занимается сочинение истории страны. Сочинение своего опыта можно интерпретировать как борьбу за память (Smith & Watson 2001: 18). Действительно, кто имеет право рассказывать о прошедшем, и что о нем должно

рассказываться? Имеет ли этот нарратор-протагонист, который сам вносил вклад в систему, право на ее критику? Или, наоборот, является ли он самым правильным и верным критиком системы? Так или иначе, кажется, что нарратор и сам осознает свое положение: оно бывший представитель этой системы и теперешний ее критик.

Если возвратимся к предыдущему отрывку, к личному воспоминанию о произволе и беззаконности в Советской армии и к следующей его импликации, что это было лишь отражением того, как государство относилось к своим гражданам, сталкиваемся со сложными вопросами, касающимися нарраторского проекта. Оправданна ли аналогия, сделанная нарратором, между армией и государством страны? А аналогия между Красной армией и тюрьмой? И следовательно, выведенная из последней аналогия между государством страны и тюремной обстановкой? А если допустим, что они оправданны, то какую роль играл протагонист в этой обстановке армии-тюрьмы?

В этом смысле нарратив сохраняет оттенки того более или менее скрытого признания, который берет свое начало с описания торжественного обещания, взятого у младшего протагониста – стать коммунистом. Заметка о том, что это обещание протагонист «к сожалению (курсив наш – П.К.), сдержал» определяет в этом смысле и подход нарратора ко всему остальному нарративу. Это обещание служит толчком неоднозначно обвиняющего тона нарратива. Как уже указано, с одной стороны, это – свидетельство, «из меня сделали коммуниста», а с другой стороны, это – признание «я стал коммунистом». Наконец, став коммунистом, нарратор не перестает критиковать эту идеологию. Причины такой риторики, как представляемая нами во введении этой работы гипотеза предполагает, могут, конечно, находиться и вне чистой ненависти к коммунизму, или неодобрения собственного выбора.

Нарратив начинает все чаще и чаще ссылаться на пределы терпения протагониста: «[В]оенная служба с ее беззаконием, отсутствием элементарного порядка --- все больше и больше тяготила меня. Особенно трудно было переносить царившие в армии хамство и произвол» (58: 17). Наблюдаем, что тут нарратор не *просто* критикует трудовые условия, а, прежде всего, конструирует из себя человека, неспособного жить среди беззакония и беспорядка, хамства и произвола; значит – человека порядочного и законопослушного, приличного и справедливого. Попытка расстаться с армией результируется в благополучном переводе в другой город. Перевод, однако, не изменяет условия жизни, которые ухудшаются на глазах.

Две автобиографии объединяет то, что нарраторы обеих автобиографий начинают уделять больше и больше внимания недостаткам тех условий жизни, от которых у них возникает желание уйти, и таким образом, идея о переезде в Финляндию возникает от



понимания невыносимости условий жизни. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза укрепляется при чтении текстов.

Рассказывая о событиях на стыке 1970-ых и 1980-ых годов нарратор 58-ого сочинения сосредотачивается на разных сферах жизни, указывая на их недостатки. В профессиональном плане, его расстраивает то, что в армейском институте, где он служит, курсанты часто отправляются вместе плановых занятий на грузовые или хозяйственные работы (58: 19). Это замечание означает, что он предпочитал бы нормальную, дисциплинную школьную программу, что, следовательно, это характеризует не столько его рабочие условия, сколько его самого, из которого в нарративе строится таким способом фигура добросовестного работника.

Обсуждая жилищные условия, нарратор говорит тоном, сильно напоминающим тон, которым нарратор 28-ого сочинения обращался к руководству страны: «Коммунальные квартиры или «коммуны» были детищем большевиков, бывших небольшими мастерами по части созидания, но умевших зато ломать, отбирать и делить (58: 19-20)». Именно беспорядность жизни в коммуне рождает у нарратора следующие мысли:

«Тогда я уже несколько больше, чем в юном возрасте знал о положении дел и уровне жизни людей в других странах. Поэтому иногда задумывался над тем, почему законопослушный человек, закончивший высшее учебное заведение, добросовестно выполнявший свой обязанности (sic!) и тративший на это не меньше энергии, чем его коллега где-нибудь в штатах (sic!), должен был жить в таких, можно сказать, скотских условиях. (58: 20.)»

Таким образом, вопрос о жилье сочетается в нарративе с профессиональными вопросами, а именно с темой заслуг. Предполагаем, что прилежность и получение по заслугам являются универсально признанными ценностями, вызывающими сочувствие у читателя. Жизненные условия становятся своего рода трагедией, если их рассматривать на фоне инициативности, которая подчеркивается нарратором в его рассказах о попытках улучшения жизни с помощью прилежной учебы и работы. Нарратор суммирует свои стремления к лучшей жизни высшим образованием и выполненными обязанностями. Сравнение советских условий с американскими углубляет чувство трагизма: трагедии свойственно, что она увеличивается в соответствии с мерами, принимаемыми для получения желанного результата. Чем больше приносилось жертв для достижения какой-то цели, тем трагичнее оказывается неудача (Brereton 1968: 10).

Причем, данный отрывок в нарративе является первым, ссылающимся на условия в других странах. Отрывок служит первым взглядом, который нарратор бросает на остальной мир, зная уже больше «о положении дел и уровне жизни людей в других

странах». Отрывок создает интересный контраст в отношении к представленному выше отрывку о «самой правильной в мире стране», которой СССР казалась младшему протагонисту – *особенно* в сравнении с капиталистическими странами. Только теперь, более зрелый протагонист, сравнивая Советский Союз с капиталистическими странами, приходит к выводу, обратному тому, на который младший «я» 28-ого сочинения ссылался, когда «понимал, что чаша жизненных весов качнулась не в мою сторону». Опять, сопоставляя эти две автобиографии, отмечаем, что в 58-ом сочинении развитие этого чувства эксплицитно не описывается.

Кроме того, отрывок служит расширению нарраторского горизонта. Жизнь в Советском Союзе сопоставляется не только с теми представлениями, которые нарратор-протагонист имеет о хорошем и приличном обществе, а теперь и с (реальной) жизнью в других странах, которые в этом отрывке представляют капиталистические Соединенные Штаты Америки, хотя, как понятно, выбор именно Америки как примера ни в коем случае не является выбором случайным со стороны нарратора. Одновременно продолжается описание ухудшения условий жизни в Советском Союзе, особенно описания чувствующегося все острее продуктового дефицита. Причем, конец застоя и постепенное падение Советского Союза описываются в нарративе как буйное время, в которое протагонист решается на отъезд из страны в Финляндию, что будет рассматриваться в следующем разделе.

Условия быта и труда мешают и нарратору другой автобиографии. Подобно изображенному в 58-ом сочинении, и этот нарратор строит из себя образ трудящегося, активного, да и нормального человека, который сталкивается с ограничениями ненормального общества:

«А что до работы, то, принимая во внимание ту мизерную зарплату, которую мне выплачивали, ее можно не принимать во внимание. Специалисты, как я понял, вообще не были нужны. Никто и не понимал, что означает слово «специалист». На одинаковой должности работал и специалист, и полуграмотный человек, и получали они одинаковую зарплату. --- Тогда-то я понял, что зря я учился на инженера, достаточно было бы на шофера. Даже став бы начальником, ничего изменить не был бы в силах. Где ж возьмешь людей с другой психологией взамен тех, что есть, где возьмешь им другую зарплату, как создать им другие условия труда, а особенно, быта?» (28: 18.)

Отрывок может читаться не только как свидетельство, а даже как признание о неправильно направленных амбициях. Вместе с разочарованием, этот перелом, который служит своего рода открытием глаз автора-нарратора, свидетельствует о том, что профессия, которую он выбрал с целью повлиять, «изменить» что-то, является не той, которая была бы нужна, а силы, потраченные для достижения цели, оказываются напрасными. Опять, как в предыдущем отрывке из другого сочинения, и в этом отрывке чувствуется трагизм:

честолюбие, которое заставило протагониста учиться на инженера, беспомощно сталкивается со стеной, которую невозможно преодолеть.

Действительно, отрывок обсуждает многих явлений, нарушающих нарраторские представления о хорошем, приличном, и следовательно, нормальном. Перечисляя эти аномалии, нарратор имплицитно излагает и свое представление о нормальном положении вещей. Неуважение, и вообще, ненужность образования, недостаточная зарплата и место, которое партия занимает в выделении рабочих мест, нарушают нормы заслуженности и профессионализма.

Хотя тематика этого отрывка соединяет его с предыдущим отрывком из другого сочинения, мы подчеркнем отличия в этих отрывках. В отрывке, взятом из 58-ого сочинения, нарратор сравнивает условия быта и труда с теми в Америке, знание о которой позволяет нарратору видеть условия своей родины в новом освещении. А для нарратора 28-ого сочинения, контраст с действительностью создается с помощью его представлений о нормальных условиях работы, представлении которые, еще раз, укрепляют его позицию как нормального человека в ненормальном обществе. Кроме этого, безысходность советских условий труда конструируется в отрывке, представлением только одного варианта решения проблемы: создание разных условий труда и быта – решение, применение которого, разумеется, невозможно (Juhila 1993: 163). Все же, оба отрывки создают сильное впечатление о хорошем, нормальном работнике в ненормальных рабочих условиях.

#### **4.4 Финляндия – наконец-то в нормальном обществе?**

Протагонисты обеих автобиографии переезжают в Финляндию после распада Советского Союза, после того, как граница «открывается» и наступает возможность подать документы на визу по причине ингерманландского происхождения, которое оба протагонисты имеют. Но объединяет автобиографии не только эта «фактуальная» деталь: нарраторы объясняют свой переезд довольно похожим образом, касаясь одних и тех же вопросов. Оба нарратора чувствуют потребность объяснить читателю причины переезда – и те условия, которые не позволяли остаться в России, и причины переезда именно в Финляндию. Причем, как замечаем, нарраторы также четко и эксплицитно подчеркивают, какие причины *не* должны приниматься как повод их приезда в страну.

Нарратор 28-ого сочинения характеризует атмосферу 1991-ого года всеобщим желанием уехать: «Как ни ругали десятками лет загнивающий капитализм, ---, люди рвались

теперь, после открытия границ, как из тюрьмы, ---» (28: 32). Это утверждение включает в себя много сопоставлений. В-первых, нарратор противопоставляет 1991-ый год прошедшим, временам, когда граница была закрыта, и страна была (и) в этом отношении похожа на тюрьму. Тут следует отметить, что, если сопоставляем наши две автобиографии друг с другом, видим, что в 58-ом сочинении «тюрьма» служит метафорой советских нравов и произвола в Советском Союзе в течение всего нарратива, между тем, как обсуждаемый теперь 28-ой нарратив ассоциирует СССР с тюрьмой именно из-за того, что из страны нельзя было выезжать (и, как первая третья данного нарратива свидетельствовала, запрещенным было и переселение внутри страны). Во-вторых, отрывок сопоставляет официальное мнение о странах капитализма с наблюдением о массовых побегах в эти страны, и осмеивает созданную официальным дискурсом картинку о загнивающем, вредном, влиянии капитализма при готовности людей уезжать в эти страны при первой возможности. В-третьих, этими двумя сопоставлениями нарратор показывает читателю, еще раз, правдивую картину советской жизни, объясняя таким образом и свое собственное желание уезжать. Сопоставив свое решение уезжать с преобладающими тогда ощущениями, нарратор делает вывод, что он был не один, и такое желание уже давно росло у людей – значит, условия были невыносимым не только в его глазах.

Получение первой финской визы изображается как трудный и медленный процесс с многочисленными препятствиями. Наконец, протагонист с супругой приезжает в гости к живущей в Финляндии дочери:

«[Н]ас встретила дочка, ---, приехавшая за нами на своей машине. Действительно, как быстро капитализм разлагает людей! Я вот могу с пролетарской гордостью заявить, что я тогда не только велосипеда, но и приличной пары обуви не имел, а плащ на мне был из полученной финской помощи. А ведь я не пьяница, работал, за что имею кучу Почетных Грамот, ---» (28: 35).

Самый первый момент визита в Финляндию составляет великий контраст между советским и капиталистическим, и опять же, чаша весов качается не в сторону советского. Насмешка над пролетарской гордостью показывает читателю обратную сторону этой гордости: чувство приниженности и несправедливости. Отрывок может интерпретироваться двусторонне: с одной стороны, он может читаться как попытка еще раз подчеркивать условия жизни в Советском Союзе, которые не позволяли людям, несмотря на усердные попытки, подняться из бедноты. С другой стороны, отрывок иллюстрирует, может быть, больше самого протагониста и его положение, чем советские условия: он повторно убеждает читателя в своих стремлениях, то есть в том, что он старался и трудился: работал настолько прилежно,

что был многократно награжден. Таким образом, если сопоставляем данный отрывок, допустим, с началом нарратива, обнаруживаем, что утверждение, что протагонист «ограблен и обманут» все повторяется – только в другой словесной форме.

Следует окончательный переезд в Финляндию. Добывание визы «так измотало нервы, что я не в состоянии бы был об этом что-то еще и писать» (28: 38). Переезд конструируется в нарративе, цитируя Сату Йуопери (2008: 31) как «история преодоления». Наконец, трудности формальнольного процесса за спиной и «А вот теперь мы здесь в *Suomi* (28: 38)». Следует отметить, что не в «Финляндии», а в «*Suomi*». Точно так же, как текст обращается не к Ингерманландии, а к «*Inkerin maa*», нарратор обращается к Финляндии своим родным языком, языком своего детства – языком, который должен имеет для него особое значение, и демонстрирует и читателю одинаково ласковое отношение автора-нарратора к Финляндии, как к своей родине. Поэтому толкуем финскоязычное обращение как символ окончательного исполнения мечты: «Как из ревущего, бушующего океана в тихую, спокойную гавань», характеризует переезд сам нарратор, а и добавляет в скобках: «(Или, если угодно, из сумашедшего дома в нормальные условия жизни)».

Действительно, по нашему мнению, в этом утверждении о прибытии в Финляндию как в нормальные условия жизни завершается нарраторский проект о конструировании советских условий как ненормальных и несправедливых и определении переезда в Финляндию как (заслуженного) побега из тех условий в более достойную обстановку. Но, как при представлении данной автобиографии отмечалось, переезд является не возвращением обратно к своим (так как «родины» больше нет, как стихотворение в начале текста показывало), а скорее, метафора о приплытии в тихую, спокойную гавань может интерпретироваться как окончательный приезд нормального человека в нормальное общество.

Хотя нарратор ссылает на переезд как на прибытие в гавань», нарратив все-таки только осложняется изображением жизни в Финляндии:

Прошлая жизнь изредка напоминает ночными кошмарами. Там, в прошлой жизни, меня сделали пролетарием, нищим. Но, живя среди таких же нищих, я не ощущал это так остро. Здесь же я прозрел; я – нищий. ---  
Упаси Бог подумать кому-либо, что я имею какие-либо претензии. --- Я ведь здесь ни дня не проработал, и не заслужил того, чем меня здесь обеспечивают. ---  
Чем меня там обеспечили, или вернее, всех нас там «обеспечили», уже никогда никем не исправить». (28: 39.)

Прежняя жизнь – кошмары, которые все мучают протагониста, и служат символом того, что ему никогда не избавиться от прошлого. Одновременно, утверждение о том, что

несправедливости прошлого уже никак не исправить, переводит внимание читателя на настоящий момент – на все, что *еще можно* исправить. Перемещение читательского фокуса на теперешний день может интерпретироваться как оправдание переезда автора-нарратора в Финляндию: тут его, с кем в Советском Союзе так нечеловечески обращались, наконец-то обеспечивают, теперь ему, наконец-то, можно жить достойную человеку жизнь. Разве он этого, после всех его переживаний, не заслужил?

Однако, жизнь в Финляндии проблематизирует нарраторскую оценку самого себя. Опять же возвращается чувство приниженности, на которое нарратор уже раньше, при изображении своего первого путешествия в Финляндию, ссылаясь. Приезд в страну открывает глаза протагонисту и заставляет его видеть условия своего прошлого в сопоставлении с условиями в Финляндии. Этот новый свет, как нарратор подчеркивает, не должен быть рассмотрен как упрек против тех, кто автора-протагониста здесь в Финляндии «обеспечивает». Нет, нарратор объясняет, что у него нет претензий, и убеждает читателя в своей благодарности, сопоставляя заботу Финляндии о нем с тем, как Советский Союз его «обеспечивал». Это является одновременно уверением читателя о том, что автор-нарратор не хочет выражать недовольство по поводу теперешней жизни, но и явным напоминанием читателя о понесенных им в прошлом потерях. Справедливости больше невозможно восстановить, и констатация этого вызывает у нарратора снова нерешенный вопрос: «что делать?».

«Что делать?», повторяющееся пять раз на последних двух страницах, суммирует весь изображенный в автобиографии опыт и как будто бросает вызов читателю своей остротой и своей обоснованностью: нарратор спрашивает, какой должна (согласно читателю) быть реакция на все прожитое. Такой явно риторический вопрос не ожидает рационального ответа, а служит скорее, как нам кажется, способом опровергать возможную критическую реакцию финнов на переезд ингерманландских-репатриотов в Финляндию. Вопрос показывает всю человеческую трагедию, описанной в нарративе, и вызывает у читателя сочувствия к переживаниям автора-протагониста.

Как нарратор 28-ого сочинения, так и нарратор 58-ого сочинения считает необходимым излагать причины своего переезда. Нарратор-протагонист 58-ого сочинения опровергает возможную критику своего переезда в Финляндию более эксплицитно, чем нарратор 28-ого, утверждая: «могу сказать, честно и определенно, более высокий жизненный уровень не был причиной моего отъезда (58: 29)». Так как в обеих автобиографиях наблюдается такая тенденция уверить читателя в «правильности» причин их переезда, авторы, кажется, опасаются, что истории их переезда в более состоятельную страну могут

толковаться как проявление чисто материальных интересов. Нарратор 58-ого сочинения заявляет: «У меня были все условия для безбедного существования в России (58: 29)», и определяет, что его «[п]ервой и главной причиной (переезда – П.К.) было давнишнее желание жить в свободном обществе (58: 29)». Затем, он прибегает еще раз к тем вопросам, которые создают главные темы его нарратива: к несвободе и произволу. Одновременно, нарратор возвращается к своей метафоре о Советском Союзе как тюрьме:

«Это была настоящая тюрьма, в которой в отличие от порядочного исправительного заведения тюремщиками часто были уголовники, а заключенными невинные люди. --- Мне конечно, могут сказать и говорят: как же так, ведь времена изменились, ведь в Россию пришла любимая тобой свобода, живи в свободной стране и радуйся. За два года, прожитые в России после падения режима, я избавился от романтических иллюзий по поводу того, что свобода приходит вместе с новыми демократическими властями и такими же законами. Это только внешние необходимые условия свободы, сама свобода должна созреть внутри человека, ---. --- Я не хочу жить ни в тюрьме, ни в здании, где вчера была тюрьма и где сохранились ее дух и многие нравы». (58: 30.)

Тюремная метафора связана, опять, с ценностями свободы и законности и их сопоставления с советской системой. Причем, нарратор не только изображает СССР как тюрьму, но и представляет, аналогично многоупотребленной и нарратором другого сочинения формуле, эту тюрьму с помощью двух оксюморонов: тюремщиков-уголовников и невинных заключенных. То есть, нарратор пользуется теми же способами, с помощью которых нарратор 28-ого сочинения не раз создавал впечатление ненормальности при изображении советских условий.

Нарратор продолжает свой аргумент, опровергая, опять, аргументы возможных противников. Для него, свобода воспитывается внутри человека, а нравы, все еще господствующие в России, указывают, что настоящей свободы и в России нет. Итак, если Советский Союз был для нарратора тюрьмой, то с Россией немного другое дело: она здание, в котором была тюрьма, и таким образом, согласно нарратору, настоящее лицо страны можно обнаруживать только, оглядываясь на ее прошлое, на время, когда в здании еще была тюрьма.

Автор-нарратор называет и другую причину своему переезду: «это сама Финляндия» (58: 30). Финляндия описывается как полная антитеза Советского Союза: разум, культурность, чистота, доброжелательность и отсутствие агрессивности (58: 30-32), хотя нарратор добавляет, что не старается идеализировать Финляндию. Так или иначе, Финляндия конструируется в его нарративе как исполнение мечты о жизни в «свободном», нормальном обществе.

Возвращаясь к гипотезе, выдвинутой нами во Введении данного дипломного сочинения, и представляющей собой предположение, что критика Советского Союза является



для нарраторов текста одним из способов оправдания своего переезда в Финляндию, можем утверждать, что анализ текстов, действительно, поддерживает такую интерпретацию. Советская действительность конструируется в текстах как постоянное нарушение норм хорошей жизни – в 28-ом нарративе господствуют темы отнятия, нищеты и несправедливости, и 58-ое сочинение изображает советские условия как несвободные. Причем, оба текста ссылаются на советскую действительность как что-то ложное и обманывающее.

Итак, советская жизнь описывается как отступление от нормы между тем, как Финляндия сочетается в текстах с нормальной жизнью – для нарратора 28-ого сочинения, нормальность означает достаточно обеспеченную жизнь, а для нарратора 58-ого текста, хорошая, нормальная жизнь состоит из «созревшей внутри человека свободы», обе черты которые читатель может легко соединить с Финляндией.

Но одновременно, Финляндия и финские читатели репрезентируют в текстах подозрение, инстанции, перед которыми приходится оправдаться. Это отражается, по нашему мнению, в стремлении обоих нарраторов объяснить для читателя и те обстоятельства, которые влияли на их переезд в Финляндию, и те причины, которые *не* были поводом иммиграции. Эти стремления конструируют не только нарратора самого, но и читателя, на которого текст направлен. Старательные объяснения и оправдания имплицитно представляют представление о сомневающем читателе, который должен быть убежден в правильных мотивах авторов-нарраторов. Может быть, если бы автобиографии не были написаны как ответы на объявление о конкурсе в Финляндии в 1997-ом году, данные автобиографии отличались бы от теперешних. Но были бы они менее критическими к советским властям, неизвестно.

## 5 Заключение

Данное исследование изучало нарративность и риторiku на материале двух автобиографий, выбранных нами как более репрезентативные из 24-ех русскоязычных конкурсных сочинений. Эти автобиографии были выбраны нами в связи с их крайне критическим отношением к советской системе. Критический тон текстов вызывал у нас желание углубиться в эту риторiku и попытаться увидеть, какие мотивы могут лежать за ней.

Уже до перехода к анализу, при названии разделов анализа, мы определили, что конструктивными опорами нарративов служат истории о лишении и разочаровании. Наше определение чувств лишения и разочарования как преобладающих в отношении нарратов к прожитому, определило и наш собственный подход к материалу, заостряя наше внимание на конструировании того, какие политические и идеологические значения в текстах придаются советскому прошлому, и жизни в Советском Союзе.

До подведения итогов анализа, мы хотим еще раз указать на постсоветский контекст текстов, который, несомненно, повлиял не только на их сочинения, но и на наше истолкование их. Как было показано при представлении контекста материала исследования и советской автобиографии, в Советском Союзе о настоящих сторонах окружающей действительности умалчивали: официально советская действительность была благополучной. Обсуждение в текстах именно замолченных и совсем не благополучных сторон советской жизни и уверение читателя о том, что это – правда о тех временах (в сопоставление с представлением, которое сами коммунисты имели о себе), определяли наш материал не только как автобиографии, а как автобиографии-свидетельства. Хотя мемуарная литература процветает в современной России, и история Советского Союза все продолжает переписываться, вопрос о значении прошлого остается спорным, нерешенным.

Автобиографический нарратив, как мы его определили, сочиняется с целью обнаружения смысла в пережитом – выяснения этого смысла автора для самого, и объяснения его читателю текста. Мы принимали такой подход к автобиографиям, и вообще воспоминаниям, согласно которому сочинение автобиографического текста обусловлено больше намерениями автора-нарратора, чем, например, работой памяти. Такая теоретическая предпосылка позволяла нам рассматривать эти тексты как риторические акты.

Итак, в контексте конкурсных сочинений, изображенная в текстах история жизни состояла из жизни в Советском Союзе и последующем переезде в Финляндию. Поэтому решение о переезде, как мы предполагали, занимает особое место в нарративах, и

поэтому мы выдвинули гипотезу, что критика Советского Союза авторами-нарраторами является способом, которым переезд в Финляндию может быть мотивирован в тексте: мы исходили из предположения, что условия жизни в Советском Союзе нарушали представление авторов-нарраторов о том, из чего состоит хорошая, нормальная жизнь; нормальная жизнь могла быть восстановлена только в нормальном обществе, в данном случае – в Финляндии. Причем, как отмечалось в начале аналитической главы, такое оправдание своего переезда, вероятно, связано с ожиданиями самого финского общества, которое может относиться к иммигрантам подозрительно, или откровенно недружелюбно.

Первый раздел аналитической главы рассматривал лишь 28-ое сочинение, так как значительная часть этого сочинения занимается важной для нарраторского проекта тематикой, отличающей это сочинения от другого текста. Данная автобиография рассказывает о многочисленных лишениях: лишениях материального плана, об утрате родного языка, культуры и, наконец, родины. Текст говорит о лишениях конкретным языком, для нарратора это – «отнятие», «ограбление», а сам протагонист – «обманут». Конкретные лишения постепенно развивают у протагониста чувство разочарования, несправедливости и зависти. Таким образом, разочарование является важной конструктивной опорой нарратива с первых страниц текста. К тому же, текст пользуется, с самого начала, сопоставлениями, которые не только служат мощными способами аргументации, но и показывают читателю, как дело должно было быть, создавая таким образом оппозиции между нормой и ее нарушением. Кроме описания нормы и ее нарушения, в 28-ом сочинении наблюдалось острая потребность восстановить справедливость, и текст стремится к увлечению читателя вопросами вины и ответственности.

Второй аналитический раздел был посвящен изучению разочарования, тематики, которая занимает значительное место в обеих автобиографиях. Как отмечено, в 28-ом сочинении изображались не только лишения, но и развивающее вместе с лишениями чувство разочарования. 58-ое сочинение обращалось с темой по-другому, создавая, с самой первой страницы, резкий контраст между зрелым повествователем и еще не разочарованным протагонистом. Разочарование в системе наступало, таким образом, только намного позже. То есть, между тем, как поздняя, более сознающая часть нарратива походит на 28-ое сочинение своими представлениями о советских реалиях как противоположных нормам хорошей жизни; в более ранней части сочинения критика условий основывается на знаниях, которые зрелый нарратор получал от этого времени только позже. В результате употребления такого риторического приема, в тексте возникают напряжения, и нарратор,

одновременно и защищает, и упрекает свое младшее «я», у которого не хватало понимания видеть правдивое положение вещей.

Позже, при изображении армейской карьеры протагониста, нарратив, как мы наблюдали, приобретает все более резкие тона, и все изображенное все больше напоминает о тюремной метафоре, на которую нарратор ссылается вплоть до конца нарратива. Для нарратора, жизнь в армии – это и есть жизнь в Советском Союзе, которая, в свою очередь, является аналогичной жизни в тюрьме: несвободной и полной произвола. Метафора тюрьмы имеет мощную риторическую силу: утверждение о Советском Союзе как тюрьме, как мы наблюдали, изображает обстановку как неподходящую для нормальной, хорошей жизни. Одновременно, выражаемая нарратором собственная чуждость в этой среде, строит из автора-нарратора собраз нормального человека, которому не ужиться в ненормальной среде.

Третий раздел аналитической главы был посвящен рассмотрению того, как в нарративах конструируется переезд в Финляндию. Оба текста обсуждали переезд как приезд в нормальное – или более свободное, или более благополучное общество. Финляндия конструируется в текстах как противоположность Советскому Союзу. Для нарратора, для которого советская жизнь состояла из «отнятия» и «ограбления», Финляндия является «обеспечением», а для нарратора, для которого СССР была «тюрьмой», Финляндия репрезентирует свободу. Таким образом, подобная тематика, сочетающиеся с сильной критикой советских реалий, уверяет читателя в невозможности хорошей жизни в Советском Союзе. Отъезд из страны является в текстах, действительно, хорошо обоснованным поступком.

Поэтому можем утверждать, что выдвинутая нами при установлении цели исследования гипотеза о том, что критика Советского Союза является способом мотивировать переезд в Финляндию, была подкреплена в ходе анализа. Конечно, как отмечалось в конце анализа, нам неизвестно, до какой степени критика советских властей зависела от среды и времени сочинения автобиографий. Следует подчеркнуть, что ни в коем случае мы не считаем, что если бы тексты написаны в другой среде или для другой публики, они были бы значительно менее критическими к советскому времени.

Так или иначе, мы наблюдали, что критика имела влияние и на представление, которое автора-нарраторы конструируют о себе в текстах. Критикуя советские условия, и представляя их как нехорошие и ненормальные, нарраторы имплицировали свое представления о хорошей и нормальной жизни. Эти импликации передавали читателю впечатление о авторах-нарраторах как трудящихся, законопослушных людях, которым

приходилось жить в патологически больном обществе, но которым, цитируя нарратора 28-ого сочинения, удалось выйти «из сумашедшего дома в нормальные условия жизни».

В этом смысле, нарративы рассказывают о переезде из ненормального общество в (более) нормальное (хотя, конечно, это не должно приниматься как единственная возможная интерпретация текстов). В заключение, оба текста, конструируя условия Советского Союза и условия в Финляндии, конструируют и представления о нормальной и ненормальной жизни. Одновременно, эти представления создают образ самого автора-нарратора как нормального наблюдателя ненормальной среды; причем, нарративы, излагая историй переезда, конструируют и образ финского читателя, который, как тексты имплицитно, ожидает, что переезд в Финляндии имеет (веские) обоснования.

## 6 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

### Первичные источники

Автобиографические сочинения 28 и 58 находятся у исследователя Лауры Хуттунен. Тексты находятся также на кафедре русского языка и культуры университета г. Тампере.

### Вторичные источники

Aarelaid-Tart, Aili 2006: *Cultural Trauma and Life Stories*. Vaajakoski: Kikimora Publications.

Adler, Nanci 2001: In Search of Identity: The Collapse of the Soviet Union and the Recreation of Russia // *The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies* (ed. Barahona de Brito, Alexandra et al). Oxford University Press. с. 275-302.

Airaksinen, Timo 1994: *Arvojen yhteiskunta: erään taistelun kuvaus*. Juva: WSOY.

Akbulatova, Galina 1997: Omaelämäkerrallisuus venäläisten maakuntien nykykirjailijattarien tuotannossa// *Silmukoita verkossa. Sukupuoli, kirjallisuus ja identiteetti* (toim. Majasaari, Katja ja Rytkönen, Marja). Oulu: Oulun yliopisto.

Anderson, Linda 2001: *Autobiography*. London: Routledge.

Balina, Marina 2003: The Tale of Bygone Years: Reconstructing the Past in the Contemporary Russian Memoir // *The Russian Memoir. History and Literature* (ed. Holmgren, Beth). Evanston, Illinois: Northwestern University Press. с. 186-209.

Baumeister, Roy F. & Newman, Leonard S. 1994: How Stories Make Sense of Personal Experiences: Motives That Shape Autobiographical Narratives// *Personality and Social Psychology bulletin*, vol. 20, number 6. December 1994. Sage Periodicals Press. с. 676-690.

Billig, Michael 1988: Dilemmas of Ideology// *Ideological Dilemmas. A Social Psychology of Everyday Thinking* (разные авторы). London: Sage Publications.

Billig, Michael 1991: *Ideology and Opinions. Studies in Rhetorical Psychology*. London: Sage.

Billig, Michael 1996: *Arguing and Thinking. A New Rhetorical Approach to Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brereton, Geoffrey 1968: *Principles of Tragedy. A Rational Examination of the Tragic Concept in Life and Literature*. London: Routledge and Kegan Paul.

Burke, Kenneth 1962: *A Rhetoric of Motives*. Cleveland and New York: The World Publishing Company.

Burke, Kenneth 1969: *A Grammar of Motives*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

- Burr, Vivien 1995: *An Introduction to Social Constructionism*. London & New York: Routledge.
- Elster, Jon 1998: Coming to terms with the past. A framework for the study of justice in the transition to democracy// *European Journal of Sociology*. Vol. 39, No. 1, pp. 7-48.
- Felman, Shoshana 1992 a: Education and Crises, or the Vicissitudes of Teaching// *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. New York and London: Routledge. c. 1-56.
- Felman, Shoshana 1992 b: The Return of the Voice: Claude Lanzmann's "Shoah"// *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. New York and London. Routledge, 1992. c. 204-283.
- Gusdorf, Georges 1980: Conditions and Limits of Autobiography// *Autobiography. Essays Theoretical and Critical* (ed. Olney, James). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. c. 28-48.
- Holmgren, Beth 2003: Introduction // *The Russian Memoir. History and Literature* (ed. Holmgren, Beth). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
- Huttunen, Laura 2002: *Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkertoissa*. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
- Johansson, Anna 2005: *Narrativ teori och metod. Med livsberättelsen i fokus*. Lund: Studentlitteratur.
- Juhila, Kirsi 1993: Miten tarinasta tulee tosi? Faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa// *Diskurssianalysin aakkoset* (toim. Jokinen, Arja; Juhila, Kirsi; Suoninen, Eero). Tampere: Vastapaino, c. 151-188.
- Kivinen, Markku 1998: *Sosiologia ja Venäjä*. Helsinki: Tammi.
- Kolchevska, Natasha 2003: The Art of Memory: Cultural Reverence as Political Critique in Evgeniia Ginzburg's Writing of the Gulag // *The Russian Memoir. History and Literature* (ed. Holmgren, Beth). Evanston, Illinois: Northwestern University Press. c. 145-166.
- Korhonen, Kuisma 1995: Augustinus, Rousseau, Augustinus // *Subjekti. Minä. Itse. Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta ja filosofiasta* (toim. Lyytikäinen, Pirjo). Tietolipas 139. Helsinki. Suomalaisen kirjallisuuden seura. c. 131-155.
- Kosonen, Päivi 1995: *Samuudesta eroon. Naistekijän osuus George Gusdorfin, Philippe Lejeunen, Paul de Manin ja Nancy K. Millerin autobiografiateorioissa*. Tampere: Tampereen yliopisto.
- Kujansivu, Heikki 2007 a: Tunnustus, todistus ja toinen. Käsiteretkellä Tunnustusten temppelissä// *Tunnustus ja todistus. Näkökulmia kahteen esittämisen tapaan* (toim. Kujansivu, Heikki & Saarenmaa, Laura). Helsinki: Gaudeamus. c. 23-46.
- Kujansivu, Heikki 2007 b: Todistuksen totuus: Tapaus Rigoberta Menchù // *Tunnustus ja todistus*.



- Näkökulmia kahteen esittämisen tapaan* (toim. Kujansivu, Heikki & Saarenmaa, Laura). Helsinki: Gaudeamus. c. 223-257.
- Kujansivu, Heikki & Saarenmaa, Laura 2007: Tunnustus ja todistus omaelämäkerrallisen esittämisen muotoina// *Tunnustus ja todistus. Näkökulmia kahteen esittämisen tapaan* (toim. Kujansivu, Heikki & Saarenmaa, Laura). Helsinki: Gaudeamus. c. 7-20.
- Kulmala, Anna 2006: *Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta*. Tampere: Tampereen yliopisto.
- Laitinen, Lea 1995: Persoonat ja subjektit// *Subjekti. Minä. Itse. Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta ja filosofiasta* (toim. Lyytikäinen, Pirjo). Tietolipas 139. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. c. 35-79.
- Lambek, Michael 1996: The Past Imperfect: Remembering as Moral Practice// *Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory* (ed. Antze, Paul & Lambek, Michael). New York & London: Routledge. c. 235-254.
- Laub, Dori 1992: An Event Without A Witness: Truth, Testimony and Survival// *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. New York and London. Routledge. c. 75-92.
- Lejeune, Philippe 1982: The Autobiographical Contract // *French Literary Theory Today. A Reader* (ed. Todorov, Tzvetan). Cambridge & Paris: Maison des Sciences de l'Homme & Cambridge University Press. c. 192-222.
- McDaniel, Tim 1996: *The Agony of the Russian Idea*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
- Misztal, Barbara 2003: *Theories of Social Remembering*. Maidenhead: Open University Press.
- Olney, James 1980: Autobiography and the Cultural Moment // *Autobiography: Essays Theoretical and Critical*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. c. 3-27.
- Palonen, Kari & Summa, Hilikka 1998: Johdanto: Retorinen käänne?// *Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat* (toim. Palonen, Kari & Summa, Hilikka). Tampere: Vastapaino. Второе издание. c. 7-19.
- Perelman, Chaïm 1980: *Justice, Law and Argument. Essays on Moral and Legal Reasoning*. Dordrecht, Boston & London: D. Reidel Publishing Company.
- Perelman, Chaïm 1996: *Retoriikan valtakunta*. Tampere: Vastapaino.
- Pesonen, Pekka 2007: *Venäjän kulttuurihistoria*. Helsinki: Helsinki University Press.
- Pöysä, Jyrki 2006: Kilpikirjoitukset muistitietotutkimuksessa// *Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä* (toim. Fingerroos, Outi et al.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 2006. c. 221-244.
- Rahkonen, Keijo 1995: Elämäkerta: Tarua ja totta// *Kerro vain totuus. Elämäkertatutkimuksen*

- omaelämäkerrallisuus* (toim. Haavio-Mannila et al.). Helsinki: Gaudeamus. c. 142-156.
- Rimmon-Kenan, Shlomith 1991: *Kertomuksen Poetiikka*. Tampere: Tammer-Paino.
- Rimmon-Kenan, Shlomith 1995: Kerronta, representaatio, minä// *Subjekti. Minä. Itse. Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta ja filosofiasta* (toim. Lyytikäinen, Pirjo). Tietolipas 139. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. c. 13-34.
- Rytkönen, Marja 2004: *About the Self and the Time. On the Autobiographical Texts by E. Gerstejn, T. Petkevic, E. Bonner, M. Pliseckaja and M. Arbatova*. Tampere: University of Tampere.
- Shlapentokh, Vladimir 1989: *Public and Private Life of the Soviet People. Changing Values in Post-Stalin Russia*. Oxford: Oxford University Press.
- Shlapentokh, Vladimir 2001: *A Normal Totalitarian Society. How the Soviet Union Functioned and How It Collapsed*. New York: M. E. Sharpe.
- Skultans, Vieda 1998: *The Testimony of Lives. Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia*. London & New York. Routledge.
- Smith, Sidonie; Watson, Julia 2001: *Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stanley, Liz 1993: On Auto/Biography in Sociology// *Sociology*. Vol. 27, No. 1. February 1993. c. 41-52.
- Summa, Hilikka 1998: Kolme näkökulmaa uuteen retoriikkaan. Burke, Perelman, Toulmin ja retoriikan kunnianpalautus// *Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat* (toim. Palonen, Kari & Summa, Hilikka). Tampere: Vastapaino. Второе издание. c. 51-83.
- Sztompka, Piotr: Cultural Trauma. The Other Face of Social Change// *European Journal of Social Theory*. Vol. 3, No. 4. c. 449-466.
- Toker, Leona 1997: Toward a Poetics of Documentary Prose – from the Perspective of Gulag Testimonies// *Poetics Today*. Vol. 18, No. 2. c. 187-222.
- Toker, Leona 2007: Testimony and Doubt. Varlam Shalamov's "How It Began" and "Handwriting"// *Real Stories, Imagined Realities. Fictionality and Non-fictionality in Literary Constructs and Historical Contexts* (ed. Lehtimäki, Markku et al.). Tampere: Tampere University Press. c. 51-67.
- Гинзбург, Л. Я. 1971: *О психологической прозе*. Л.: Советский писатель.
- Йуопери, Сату 2008: «Где же дом?» Анализ нарративного интервью с ингерманландским финном-репатриотом. Дипломная работа. Институт современных языков и переводоведения. Университет г. Тампере.

Кузнецов, С. В. 1997: Религиозно-нравственные воззрения крестьян на землю, хозяйство и труд.// *Русские: народная культура (история и современность)*. М: Ин-т этнологии и антропологии РАН. Том 2: Материальная культура. с. 49-67.

Лебина, Наталия 2000: О пользе игры и бисер (Микроистория как метод изучения норм и аномалий советской повседневности 20-30-х годов)// *Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920-1930-е годы* (под. общ. ред. Тимо Вихавайнена). СПб: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге. с. 7-26.

Лежен, Филипп 2006: Когда кончается литература? Беседа с Еленой Гальцовой от 28 октября 2000 г.// *Автобиографическая практика в России и во Франции* (под ред. Вьолле, Катрин и Гречаной, Елены). М.: ИМЛИ РАН. с. 261-275.

Лотман, Ю. М. 1998: *Об искусстве*. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). СПб: Искусство-СПб.

Нуркова, В. В. 2000: *Свершенное продолжается: Прихология автобиографической памяти личности*. М.: УРАО.

Савкина, Ирина 2001: *«Пишу себя...». Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века*. Tampere: University of Tampere.

### **Словари и энциклопедии**

ECRC 2007 = *Encyclopedia of Contemporary Russian Culture* (ed. Smorodinskaya, Tatiana et al.). London, New York: Routledge.

БТС 1998 = Большой толковый словарь русского языка (гл. ред. Кузнецов, С. А.). СПб: Норинт.

### **Ненапечатанные источники**

Трубина, Е. Г.: *Нарратология. Основы, проблемы, перспективы. Материалы к специальному курсу*.

<[http://www2.usu.ru/soc\\_phil/rus/courses/narratology.html](http://www2.usu.ru/soc_phil/rus/courses/narratology.html)>

Уральский государственный университет. Прочитанный нами 18.04.2008.